Военные приключения

В ШАГЕ ОТ ПРОПАСТИ

ГЕННАДИЙ АНАНЬЕВ

Военные приключения

Геннадий Ананьев

В шаге от пропасти

«ВЕЧЕ»
2018

Ананьев Г. А.

В шаге от пропасти / Г. А. Ананьев — «ВЕЧЕ», 2018 — (Военные приключения)

ISBN 978-5-4484-7285-5

Со времен царствования Ивана Грозного защищали рубежи России семьи Богусловских и Левонтьевых, но Октябрьская революция сделала представителей старых пограничных родов врагами. Братья Богусловские продолжают выполнять свой долг, невзирая на то, кто руководит страной: Михаил служит в Москве, Иннокентий бьется с басмачами в Туркестане. Левонтьевы же выбирают иной путь: Дмитрий стремится попасть к атаману Семенову, а Андрей возглавляет казачью банду, терроризирующую Семиречье…Роман признанного мастера отечественной остросюжетной прозы.

ISBN 978-5-4484-7285-5

© Ананьев Г. А., 2018
© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Глава первая 6
Глава вторая 26
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Геннадий Ананьев
В шаге от пропасти

© Ананьев Г.А., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Со времен царствования Ивана Грозного защищали рубежи России семьи Богусловских и Левонтьевых. Сдружились еще на засечных пограничных линиях, потом и породнились… Но прогремел выстрел «Авроры», и бывшие соратники оказались по разные стороны баррикад. Глава рода Левонтьевых считал, что пограничники не должны нарушать данной императору присяги, поддерживали в этом отца и сыновья-офицеры. Генерал Богусловский же был уверен, что никакие политические изменения не должны ослаблять охрану государственной границы. И убеждения свои представители старых пограничных семейств отстаивали не только словом, но и делом.

Гибнет в Финляндии Петр Богусловский, его брат Михаил, избранный председателем Реввоенсовета пограничного полка, сначала участвует в штурме Зимнего, а потом помогает чекистам бороться с разного рода контрреволюционерами.

В это время младший из Левонтьевых – Андрей, служивший на заставе в Туркестане, раскалывает личный состав и уводит группу казаков, которая вскоре превращается в бандитское образование.

Иннокентий Богусловский, наоборот, остается на заставе и сначала вместе с оставшимися верными своему долгу пограничниками отбивает многочисленные налеты басмачей, а потом уходит с красноармейцами в поход на Коканд.

Дмитрий Левонтьев отправляется в Сибирь, надеясь, что ему удастся сыграть решающую роль в освобождении экс-императора Николая II, но быстро разочаровывается в этой идее и вместе со своим старым знакомцем подпоручиком Хриппелем решает присоединиться к войскам Колчака или атамана Семенова…[1]

[1] Краткий пересказ книги Г. Ананьева «Зов чести» («Военные приключения»). М.: Вече, 2018.

Глава первая

– Стало быть, все едино, что к Каппелю, что к атаману Семенову? – похлестывая короткой плеткой по голенищу, вот уже в какой раз спрашивал Дмитрия Левонтьева и Якова Хриппеля дородный, косая сажень в плечах, есаул с рыжей окладистой ухоженной бородой и пронзительным взглядом коричневых глаз.

Дмитрий напрягся, чтобы легче принять удар, но сегодня есаул, по манерам и речи больше похожий на урядника, не взмахнул плеткой и не ошпарил хлестко, с оттягом, плечо. Продолжал ехидно задавать вопросы:

– За Русь, стало быть? Чего же оттуль в Сибирь подались? Русь-то там.

Молчали офицеры. Они уже все сказали этому хаму. Поначалу требовали, а Хриппель даже пытался угрожать, но плетка быстро их усмирила. Бессильными и безвластными они оказались в руках казачьего есаула, недавно, по всей видимости, назначенного, и не могли найти никакого выхода из сложившегося положения. Бежать? Но казаки знают все тропы, нагонят быстро, и тогда уж вовсе крышка. А так, глядишь, поверит все же и отправит в штаб. Там-то все встанет на свои места.

Честолюбивые планы молодых офицеров, их мечты оказаться у дел рядом с теми, о ком заговорили на Руси, в ком признали силу, рухнули вдруг и совершенно нелепо. Казачий разъезд не заметил их, так нет, сами окликнули. Как же – свои. Но встреча с есаулом огорошила…

– Кто послал?! – строго спросил тот, хлестнув нервно плеткой по голенищу, предупредил еще строже: – Добром не признаетесь, замордую до смерти!

– Мы, господин есаул, – офицеры! И мы просим…

– Офицеры? Ну ты-то, – с ухмылкой глядя на Хриппеля, согласился есаул, – куда ни шло. А этот, – есаул смерил взглядом Дмитрия, – вон какой. Нет кости такой мужицкой у дворян. Я-то знаю.

Откуда было ему, выросшему в глухой забайкальской станице, знать офицерство? Но так уж устроен человек, что он сам себя может твердо убедить в чем угодно, особенно если еще жизнь балует его, если ему фартит. Уверенный в себе человек, если он еще необразован и не воспитан хорошо, многое может возомнить. Таким, уверенным в себе, обласканным судьбою, и был есаул Кырен, Костя Кырен, как его продолжали звать станичники, которые хотя и остались рядовыми, но тоже были о себе высокого мнения, ибо считались, по казачьим меркам, богатыми, крепкодомными. Полк, в котором Кырен поначалу служил рядовым, побывал в Омске, Новониколаевске и даже в Самаре. Костя Кырен видел там господ, гулявших в городских садах, завидовал столь вольготному житью, дорогим одеждам и сам мечтал «выйти в люди.

– Повидал я на своем веку всякого, меня не проведешь! – рубанул он и пригрозил: – Не скажете, аже кем и откудова засланы, жалко мне вас станет. Замордую!

– Я офицер штаба Корпуса пограничной стражи! Я прошу вас либо доложить о нас своему вышестоящему командованию, либо дать возможность сделать это нам самим!

– Ишь ты, серчает… А ответь мне, отчего в такую глухомань черт тебя занес? Там-то, не в Сибири, ее, границы той, немерено. Иль места тебе не нашлось? Скажи, будь милостив.

Что ответишь на это юродствование? Отчитать бы есаула-выскочку, а то и морду начистить, сразу бы нашел свой шесток, да как сделаешь это, если сила на его стороне? Одно остается – убедить…

Закончился первый разговор плеточной выволочкой. Не крепкой, но чувствительной. На следующий день разговор возобновился, но строился так: вопрос – удар плеткой по ключице либо по шее, а то и меж лопаток, новый вопрос – новый удар. А когда отлеживались на сене в сарае после такого разговора, думали да гадали, как убедить этого твердолобого, по их определению, есаула в том, что не лазутчики они?

Но все, что казалось им самим убедительным, никак не действовало на есаула. Он упрямо спрашивал, приправляя каждый вопрос хлестком плетки, кто и с какой целью подослал их к нему, есаулу Кырену. И конца этим вопросам пленные офицеры пока не видели.

В первый же день Кырен понял, что никакие они не лазутчики, поначалу даже намерился не только отпустить их с миром, но даже дать сопровождающих, затем, однако, передумал. Ему пришла, как он посчитал, от бога мысль: испытать офицериков и того, кто покрепче будет, взять себе в помощники. А поразмыслив денек-другой, и вовсе определил крепшего в подручника превратить, что стелят семейцы на колени при молении. Вот и изгалялся над беднягами до тех пор, пока один из них, Хриппель, не взвыл истошно:

– Шпионы мы! Да! Да! Расстреливайте, но прекратите издевательства!

– Ладно, так и поступим, – удовлетворенно ответствовал есаул и приказал казакам: – В сарай.

А утром вновь за свой вопрос. Только плетку придержал. Подождал ответа минуту-другую и заговорил ухмылисто, с издевкой:

– Помалкиваете? Обиду на меня держите? Не шпионы, дескать, – и сказ весь. Согласен. Не лазутчики. На том и порешим. Теперь слушай мой приговор. Тебя, – ткнул в сторону Хриппеля плеткой, – отвезут к атаману. А тебе, – тот же указующий жест плеткой, – быть у меня помощником. Все. Судить-рядить не станем. Выполнять станем.

Есаул кивнул казаку-конвойцу, и тот, нахально улыбаясь, пригласил:

– Кони ждут, вашебродь.

Пожали друг другу руки обрадованные Хриппель и Левонтьев, пожелали друг другу все, что принято в такие моменты желать, а когда вышли из комнаты Хриппель с казаком, есаул, осенив себя крестом, пробурчал смиренно:

– Прости, Господи, душу грешную…

Мурашки по спине пошли у Дмитрия Левонтьева от возникшей догадки: ни до какого штаба Хриппель не доберется, а он, Левонтьев, тоже в руках вот этого рыжебородого есаула, который может в любую минуту отправить его к праотцам. А есаул Кырен тем временем достал из кармана расческу, маленькое зеркальце и начал неспешно, с явным удовольствием, расчесывать и без того аккуратную бороду. И как бы между прочим бросил:

– Уж больно много в штабу таких, как твой друг. Лишним станет, истинный крест, лишним. – Прошелся еще разок-другой по бороде расческой и добавил философски: – Припоздинились вы. Когда начинали мы, голо было, а теперь чево, теперь как мухи на мед. Облепили все…

Языком полуграмотного казака говорила великая житейская истина. Но не до философских размышлений по поводу этой истины было теперь Дмитрию Левонтьеву. Он думал о себе, о том, как поступит с ним этот жестокий человек.

Внимательно оглядев в зеркальце бороду и оставшись довольным, есаул подошел почти вплотную к Левонтьеву и, вцепившись в него немигающим взглядом, принялся высекать слова:

– У меня останешься. Худа не сделаю. В бега вздумаешь податься – пеняй на себя. – Помягчел голосом: – Чтобы Рассею спасать, чего ты намерился, нет нужды в штабе портками трясти. Крепкое дело дам. С башкой будешь, не обездолишь и себя. Вот так, паря!

Хотелось с размаху, всласть влепить этому наглецу оплеуху, но проглотил обиду Левонтьев.

«Ничего, жив буду – сочтусь!»

Поздно вечером, после обильного ужина с крепким самогоном, Дмитрия Левонтьева отвели не в сарай, а в соседний с есаулом дом, где ждала его большая неуютная комната, в которой и было-то всего мебели – кровать, стол да лавка.

– Вот, паря, тут и ночуй, – панибратски похлопав Левонтьева по плечу, вроде бы выдал сопровождавший казак свое разрешение располагаться в этой комнате. – Вон вольно как тут…

Больно кольнуло Дмитрия и «паря» и «ночуй» – не живи, а только ночуй. Понуро побрел он к лавке и принялся стаскивать сапоги, вовсе не обращая внимания на все еще торчащего у порога казака. Ему сейчас было все одно, уйдет ли казак, останется ли в комнате караулить его.

Казак ушел, и Левонтьев вздохнул облегченно. За многие недели мытарств по станциям, по тайге он впервые остался один, и, хотя хмель притуплял его сознание, он мог теперь, без пригляду, расслабиться и неспешно обдумать все, что с ним произошло, наметить тактику действий на будущее.

Сколько раз он проклинал себя, что прилип к Хриппелю, поверил его радужным надеждам. Уехав с заимки, податься бы к себе домой, переждать беспокойные времена, но нет, потянуло в самую гущу смуты. И чего ради? В монархию Дмитрий уже не верил так свято, как до заимки под Тобольском, а правда – она ведь у каждого своя. Он даже подумал, что вполне возможно, в чем-то правы мужики, вздыбившие империю от края до края, но в ответ немедленно возмутилась сословная гордость, растоптанная, заплеванная. Со стыдом вспоминал он сейчас те часы и дни, когда из-за трусости своей читал старообрядческие книги, забыв вовсе, что искренне тогда увлекся ими, что они перевернули его душу, заставили на мир посмотреть иначе, непривычно. Но теперь, в возбуждении, он воспринимал все то как унижение. А рыжебородая харя мужлана-есаула представлялась ему столь омерзительной, его поведение так оскорбительно, что даже стон от злобной бессильности непроизвольно вырвался из груди.

Да, он опоздал… И в Петербурге, и теперь здесь, в Сибири. Но пришла бы нужда спешить ему куда-то, не свершись переворота в феврале, не произойди восстания в октябре? Нет. Дмитрий был при деле. При своем деле. И конечно же та, чужая для него правда, была ему не только неприемлема, но и ненавистна.

И другое понимал: не властен он пока что распоряжаться собой, прими даже сейчас решение не перечить большевизму. Ему теперь оставалось одно: искать случая, чтобы обратить на себя внимание атамана Семенова. А тогда уж сполна отплатить рыжебородому есаулу и за плетку, и за все иные унижения…

Почти всю ночь провел Дмитрий Левонтьев без сна, роились думы, тошнило то ли от изрядно выпитого самогона, то ли от чрезмерно (с голодухи) съеденной свинины, но утром он не чувствовал физической утомленности, лишь на душе было гадко, и родившееся ночью определение: «Раб есаульский» – назойливо повторялось, не отступая ни на шаг.

В комнату, словно он был за дверью и лишь ждал того момента, когда Левонтьев проснется, вошел вчерашний казак.

– Кличет, паря, тебя есаул. Совет держать.

– Как зовут вас? – спросил Левонтьев, делая ударение на слове «вас», чтобы отдалить нахального казака, дать понять ему, что фамильярность ему неприятна.

– Газимуров я. А тебя как звать-величать?

– Дмитрий Павлантьевич Левонтьев. Офицер.

– Дмитрий, стало быть, – вовсе не обращая внимания на последнее слово Левонтьева, уточнил Газимуров. – Памятливое имя, без заковырок. Ну так пошли. Ждет есаул. Осерчает, чего доброго.

Нет, у есаула было приятное настроение. Он сидел за столом, на котором ведерный самовар настойчиво шептал что-то стоявшему на конфорке цветастому чайнику, и, казалось, внимательно изучал медали, густо набитые на медном самоварном лбу, пытаясь разобраться, когда и на какой выставке была заработана каждая из медалей.

– Гляди, ваше благородь, – без приветствия заговорил Кырен, как только Левонтьев с Газимуровым вошли в комнату, – медный грош цена ему, а по всему пузу – награды. Почет, стало быть. А отчего? Полезный людям. Это тебе не фигурка какая мраморная иль золотая. Цена – не подступишься, а толку никакого. Никто медаль прилепить и не подумает. Осмыслил, к чему клоню?

– Вроде бы да…

– Вроде бы – это негоже. Садись. Вот чашка. Наливай и кумекай.

Долго, однако, кумекать Дмитрию Кырен не дал. Макнул кусок сахара в чай, отгрыз, сколько удалось, хлебнул из блюдца глоток и заговорил напрямую, без притчей.

– Семенову, атаману нашему, да иным всем, кто возле него, золотишко нужно. У нас, забайкальцев, спрос есть: «Каво, паря, без обуток да лопотины с кухаркой насухаришь?» И верно, озябнешь враз, до целования ли? Так и Семенов без золота чего навоюет? Потому и поедешь ты в Зейскую пристань. Не слыхивал небось о таком городе?

Как не слыхать пограничнику об этом, как в штабе называли, «оперативном направлении»? Читал не одно донесение не только с застав амурских о стычках с золотоношами, но и с тыловых острожков – Верхнезейского и Долонского, что стояли на Селимже. Много казаков-пограничников, заступавших контрабандистам-грабителям тропы, было представлено к крестам, но не меньше и погибало. Он знал, что золото намывали старатели на притоках реки Зеи в Приамурье, которое еще именовалось в донесениях «пегой ордой», и что открыл этот золотоносный край первопроходец Юрий Москвитин, а затем побывали здесь Василий Поярков, Игнатий Милованов – Левонтьев и по долгу службы, и любознательности ради читал коечто о Приморье, но скажи ему прежде кто-либо, что придется подневольно оказаться на «оперативном направлении» и выполнять роль контрабандиста-грабителя, посчитал бы величайшим оскорблением.

– Казаки золотишко углядели, – горделиво продолжал, не ожидая вовсе ответа, есаул. – Под казаками и поныне Зея-город. Так кому, скажи мне на милость, золото должно идтить? Атаману казачьему! Семенову нашему, за нас, казаков, радеющему! – сердито выкрикнул есаул, словно Левонтьев упрямо возражал ему. Отхлебнув чаю, продолжил, все так же серчая: – Выбирай, сколь с собой возьмешь. Как определишь, так и распоряжусь. Только вот мой сказ: не больше троих бери. Тайга шума не любит. Ой, не любит… Вот его, – есаул кивнул на Газимурова, – обязательно возьми. Сам он хоть из Газимур-завода родом, места те зейские ведомы ему. У Ерофей Павловича бывал, в Тынде, по Гилюй-реке хаживал, в Золотой горе перемогался. Миллионщиком не стал, но две лавки открыл. Две станицы атаманские шапки перед ним ломали. И будут еще ломать, как изведем латаных горлодеров. Не худобожий Газимуров казак. За свое стоит. Иных двоих, тож алкотных казаков, сам он сыщет тебе. Пополднюете – и, благословясь, в путь. Тайгой да яланями. Оно подольше, зато поспокойней, – бросил взгляд на Газимурова. – Споро чтобы переодеванный был. Да не пакостную лопоть добудь.

Ловко все обставил. Вроде бы просто посоветовал Левонтьеву, да тому от такого совета деваться некуда. Придется ехать тайгою под присмотром есауловских соглядатаев. Не увильнуть, не отделаться от них…

Одежду ему принесли вскорости. Домотканую, на вид грубую, но и штаны, и кабатуха – толстая холщовая рубашка, вовсе без воротника, отороченная красной каймой, и шамель – что-то отдаленно напоминающее шинель, только сукно сермяжное много плотней и толще да длиною выше колен – все сидело ловко, все удобно, все вольно, не стесняло движения.

«Для охоты такую одежду иметь», – скользнула мысль, и всплыли в памяти сцены сборов на охоту, зорьки в скрадках, удачные выстрелы по налетавшим табункам, услужливые егеря – вспомнилось все так отчетливо, что даже стона не смог удержать Дмитрий. Все в прошлом! А что впереди?

Перед отъездом есаул саморучно налил всем по стакану первача.

– Ну, с богом, – благословил он и, осушив стакан, добавил: – Вестей жду побыстрее.

И начался многодневный путь по едва проторенным дорогам меж сопок, на которых удивительно нелепо, можно сказать, на камнях росли величавые кедрачи и сосны, а по падям толпились все больше осины, дрожавшие словно в ознобе от сырости и сквозняков, и лишь на вольной ровности, на еланях, по-купечески размашисто, как на опушках среднерусских лесов,

стояли березы. На дорогах, по которым правил коня Газимуров, видел Левонтьев множество следов и кабаньих, и лисьих, и лосиных, а несколько раз рогачи показывались перед всадниками, приняв, видимо, мерный лошадиный топот за шаги своих сородичей, но, поняв ошибку, круто виляли и неслись, ломая подлесок, подальше от человека. Все это не могло не отвлекать Левонтьева от дум о своей участи, и постепенно, день ото дня, он отходил душой, все охотней поддерживал на привалах разговор с казаками. Постепенно привыкал он и к грубому «паря», и к тому, казавшемуся ему странным, снисходительно-покровительственному отношению к нему казаков, какое бывает у сильных, обеспеченных и уверенных в себе людей к обиженным судьбой, мечущимся в поисках своей доли. Левонтьев начинал даже с уважением относиться к казакам, которые не видели настоящего богатства, но для которых пятистенник с крытым двором, пяток лошадей, две-три коровы да десяток овец были настолько значительны, что они считали себя вполне достойными уважения. Левонтьев, более того, стал перенимать их манеру держать себя, манеру разговаривать, и когда их маленький отряд подъезжал к цели своего путешествия, Левонтьев уже не «выкал» интеллигентно, и казаки относились к нему намного уважительней. Постепенно он отбирал главенство у Газимурова, хотя внешне все вроде бы шло по установленному есаулом Кыреном порядку.

Последний удар по высокомерию казаков Левонтьев нанес за вечерним чаем в доме старовера, или, как их здесь называли, семейца, на окраине Овсянки, вольно раскинувшегося села по левому берегу Уркана. Под вечер переправились они бродом через Уркан повыше Овсянки, и Газимуров предложил переночевать в селе и обмозговать, как лучше добраться до Зейского причала: верхом или лодками.

Постучал Газимуров в ворота стоявшего на отшибе пятистенника с большущим крытым двором, и хозяин, поздоровавшись с Газимуровым, как с другом, по которому неимоверно соскучился, радушно распахнул ворота.

– Милости прошу, дорогие гости!

Левонтьев давно заметил, что Газимуров останавливался на отдых только у семейцев, хотя сам открестился от староверства, когда Левонтьев спросил его, не двуперстием ли он кладет крест. Но не случайны же эти совпадения… И решил Дмитрий рассказать о Тобольске, о том, что стоял у коновода староверов Ерофея Кузьмина. Вдруг знают семейцы здешние о нем? Связи у них крепкие, информация хорошо налажена. В этом Левонтьев убедился, слушая разговоры Газимурова с семейцами, у которых они останавливались. Левонтьев искал только удобного момента, чтобы рассказ его прицельно выстрелил. И вот он настал…

Завели лошадей во двор, расседлали, растерли ноги и бока сенными жгутами, задали сена, а когда протирали стремена и трензеля, один из казаков сказал многозначительно:

– Хозяин, паря, коновод среди семейцев. В почете.

Смысл сообщения этого, как понял Левонтьев, сводился к тому, что гляди, дескать, в каком доме привечают, стало быть, не лыком шиты.

«Что ж, пора определяться, кто и как сшит», – решил Дмитрий, надеясь на то, что хозяин, раз коноводит, вероятней всего, может слышать о коноводе притобольской округи.

Здесь ужин проходил так же чинно, как и во всех староверческих домах. Ели сосредоточенно и молча. Женщины не поднимали глаз на гостей, но видели все, что происходило за столом, улавливали желания гостей и моментально их выполняли. Только хозяйка пользовалась правом голоса и время от времени советовала гостям кушать, не стесняясь, все что на столе.

Беседа началась только после того, как появился самовар и хозяйка начала разливать чай. Раскрыл, как говорится, рот первым хозяин. Не то спросил, не то удостоверил:

– В Пристань, значит, путь… – И посоветовал после паузы: – Урканом спуститься ладней будет.

– Еланями тож заблудки не станет, – возразил Газимуров, но так, вроде бы не хотел этого вовсе делать, а должен был возразить для порядка. И хозяин вполне понял это. Пообещал:

– Карбаз сыщем.

Помолчали, сосредоточенно переливая чай из чашек в блюдца. И тут Левонтьев решился. Понимая, что вовсе не к настроению вопрос, но надеясь вызвать хозяина на заинтересованный разговор:

– Скажи, отчего здесь старообрядцев семейцами зовут? Когда я под Тобольском у Ерофея Кузьмина на заимке жил…

– Погоди, мил-человек, не коновод ли тамошний Ерофей Кузьмин? – живо переспросил хозяин.

– Похоже, коновод. Сходилось к нему много народу, слово его слушали. Книги я у него брал ваши – старинного письма. Не попадалось слово «семейцы» в них. Да и прежде, в Петербурге, не слыхивал.

– Глядел в книгу, а видел фигу! – сердито проворчал хозяин. – Стадо божье, единое стадо… – Смягчаясь, спросил: – Как жив Ермач? Справно ли дом блюдет?

– Коммуна трактор у них отняла.

– Не божье дело – коммуна. Ох, не божье, – сокрушенно вздохнул хозяин. – Бог – он осудит. Накажет Бог!

– Заимщики тоже так порешили. Мы готовились императора нашего Николая Второго из большевистского ареста вызволить, да против коммуны повернулись.

– А на кой ляд Николашку спасать? – удивленно спросил Газимуров. – На кой ляд?

В этом вопросе как бы распахнулась душа казачья. Что ни говори, а верой и правдой служили императору казаки, но не за здорово живешь, не просто за титул императорский уважали да обороняли, все было гораздо земней: цари им землю без меры, они – головы за царей. А какая сила у Николая II? Теперь им самим свою землю защищать, а не ждать манны небесной. Все это прекрасно понял Левонтьев уже давно и именно на этом решил сыграть. Вроде бы и он уважал прежде в императоре не титул, а силу, но вот теперь ставит на более сильную личность.

– И я, о том же подумавши, махнул на все рукой и подался сюда с тем поручиком, что в тайгу вы свезли. Отец-то мой с Семеновым были представлены друг другу.

– Знали, выходит? – еще с большим удивлением спросил Газимуров. – Знали?

– Да. И довольно коротко…

– Ишь ты! Уж куда как махтарый Костя Кырен наш, а не угадал. Офицерика того, сотоварища твого, приказал, чтобы, значит, в спину. Дознается Семенов – крышка есаулу…

Почувствовал Левонтьев, что перехлестнул. Нельзя было всей правды говорить. Газимуров теперь вполне может, чтобы держать в узде есаула Кырена, передать ему все, что узнал, и пригрозить, что в случае чего поможет ему, Левонтьеву, добраться до атамана Семенова. С другой стороны, сам Газимуров теперь станет бояться его, Левонтьева, и глаз спускать не будет, превратится в истинного цербера, а при невыгодной для себя ситуации может и вообще убить. Ругнул себя Левонтьев, да поздно: слово не воробей. Попытался как-то успокоить Газимурова:

– Да нет, Хриппель не друг мне. Один раз всего виделись. На бале у императрицы. Ну а я… Есаул прав: в штабе и без меня людей хватит, а здесь я реальную пользу общей нашей борьбе за землю, за права свои принесу.

Не клеился дальше разговор. И казаки, и хозяин-старовер трудно переваривали услышанное. Так, озадаченные все, разошлись спать.

Утром Левонтьев заметил два изменения в поведении казаков. Без него никто не сел за самовар, здоровались с ним все почтительно, и даже слово «паря» звучало не грубо, не унизительно-панибратски, а с мягкой добротой. И во взглядах уважительность. Причина этого изменения ему была понятна и радостна. А вот второе озадачивало. Дело в том, что, как ни старались и казаки, и хозяин держаться безмятежно, Левонтьев все же почувствовал, что растревожены они чем-то очень сильно. Он тоже безотчетно заволновался, пытаясь успокоить себя и терпеливо ожидать, пока уведомят его о том, что же случилось этой ночью.

Пышные румянобокие шаньги, мед, чай со сливками, сметана, масло – всего было много, и хозяйка потчевала гостей настойчиво:

– Медок – горный, с первоцвета. А шаньги – только из печи. Кушайте Христа ради.

Только ей дозволено говорить за столом, всем остальным по правилам хорошего тона семейцев разрешается только отвечать хозяйке: «Благодарствую», – иные слова были не в почете. И видел Левонтьев, макая, как и все, шаньгой в мед и отхлебывая чай, что спешат на этот раз казаки покончить с едой, чтобы поскорей вылезти из-за стола. Дмитрий тоже попроворней задвигал челюстями, поддаваясь общему настроению.

Легла боком на блюдце одна чашка, вторая, третья. И вот уже хозяин распорядился: «Давайте все со стола. Проворней-проворней», – а как только женщины унесли самовар и недоеденные шаньги, заговорил, обращаясь к Левонтьеву:

– Беда приключилась нонче. У японцев золото отбили. Похоже, голодранцы красные. На Уркане, у перевоза. От села верст пяток. Как бы, говорю, японцы на вас глаз не кинули. Крутой у них спрос: виноват ли, прав ли, все едино – комарам на корм. И пережидать не резон, и в путь идти не ко времени. А карбазом и вовсе нельзя…

– Японцы, – глядя на Левонтьева, подхватил Газимуров, – не есаул. Тот плеткой раздругой огрел – и ладно. Эти жилы повытянут при допросе.

– Не выгораживай есаула! – не сдерживая ненависти, отрезал Левонтьев, хотя понимал, что не ко времени эти слова, но не мог иначе. Гнев и боль не столько за унижения физические, сколько за нравственные жили в нем неумолчно. – Есаул ваш…

– Не о том, паря, сказ, – настойчиво прервал Левонтьева Газимуров. – О японцах говорю. Понаслышаны о них мы. Во как! – казак приставил ребро ладони к горлу. – Не приведи господи!

В полной мере осознал опасность Левонтьев. У всякого, кто проведает об их появлении, возникает вопрос: для чего они здесь, для какой цели? Беда еще и в том, что не расскажешь искренне о своих намерениях. От казаков тогда смерть. Но Левонтьев не хотел показывать своей растерянности, чтобы не расплескать едва утвердившийся авторитет. Сказал усмешливо:

– Не только, выходит, казаки одни считают себя законными хозяевами золота. На блюде, гляжу я, никто не преподнесет его нам. Придется крепко подумать, чтобы добыть его. А для этого, как я понимаю, нужно целым и невредимым добраться до Зейской пристани. Ну, это уж, дорогой Газимуров, твоя забота. Тебе есаул повелел доставить меня к месту.

– Мандрык сподручен, – посоветовал хозяин. – Пеши.

– А на партизан наткнемся в тайге? – высказал сомнение один из казаков.

Но Газимуров одернул его:

– Эко сказанул. Птицы они, что ли? Следы небось углядим.

– Коней опосля возьмете, когда нужда в них станет. Не объедят. Сена и овса вдоволь у меня.

Левонтьев спросил Газимурова, что такое мандрык, но тот глянул удивленно, пожал плечами.

– Мандрык – мандрык и есть.

Что за этим незнакомым словом кроется нелегкий путь, Левонтьев понял в короткое время. Поговорили еще самую малость о ночном происшествии, так не ко времени случившемся, и хозяин, как бы прекращая пустопорожний разговор, предложил:

– Обуходить обутки пошли.

Он провел их в просторную комнату, которая предназначена была для шорницких и сапожных работ. Она была довольно светлой, о трех окнах, в простенках между которыми висели хомуты, уздечки, потники, а на самодельных полках лежали кожи добротной выделки, колодки, правила, сапожные ножи, молотки, плоскогубые щипцы и иной разный, совершенно незнакомый Левонтьеву инструмент. Хозяин снял с одной из полок короткошерстные обрезки

лосиной шкуры, с колен и подбрюшья, и казаки, разместившись за просторным низкорослым верстаком, принялись выкраивать треугольники. Левонтьев же оказался не у дел, стоял возле верстака и пытался вникнуть в суть начатой казаками работы. Но хозяин подставил к верстаку табуретку и, подавая Левонтьеву сапожный нож, пригласил:

– Садись, паря, режь себе подбойки. Без подбоек негоже.

После короткого разъяснения он понял, что за подбойки нужно кроить и для чего они. Взял самый грубый лоскут и начал вырезать треугольники с таким расчетом, чтобы шерсть лежала от острого угла к основанию. Восемь треугольников для каблуков, восемь, побольше размером, для подошв. Подбитые углами к центру, на подошвы и каблуки, они полностью исключат скольжение при подъеме и спуске с любой крутизны.

Левонтьев сам, поначалу неловко, а затем все более приноравливаясь, даже испытывая удовлетворение от хорошего удара молотком, когда гвоздь, не ломаясь, вбивался в проткнутое шилом гнездо, прибивал к своим сапогам деревянными березовыми гвоздями подбойки, стараясь накалывать шилом ровную строчку, чтобы было красиво, как у Газимурова и других казаков. За работой, как водится, вели разговоры о житье-бытье. И конечно же о запустевших усадьбах, хозяева которых либо погибли на германской войне, либо ушли в семеновские сотни, а то и подались в партизанские отряды.

– Гибнет землица, – сетовал семеец. – И все от чего? От неверия? Попы-щепотники довели до греха. Старой бы веры не порушили, содома не случилось бы. За щепоть Бог и наказует.

– Двуперстием ли, трехперстием ли себя осенять, разве это так уж важно, так уж существенно? – вступил в разговор Левонтьев, намереваясь блеснуть знанием истории раскола и тем самым подняться еще выше в глазах казаков. – Исправлять святые книги начал Аввакум вместе с Никоном…

– Господь с тобой?! – посуровел возмутившийся хозяин. – Аввакум от Никона натерпелся страсть сколько! Неужто мог он вместях быть?! Господь с тобой!

– Верно, натерпелся. Только это позже произошло. После свершившейся реформы, когда Никон патриархом стал. Суть раскола в борьбе русского уклада жизни против нововведений европейских. Не мог же всерьез расколоть нацию возврат к старым, до татарского ига, правилам в церковной службе. И Никон предложил Аввакуму возглавить эту работу.

– За такие слова, паря, поганой метлой из дому гнать тебя следовало бы! Ну да простит тебя, грешного, заблудшего, Бог.

Нелепицей показалась поначалу Левонтьеву гневная вспышка хозяина: полное незнание причины раскола и столь же полное нежелание что-либо менять в своем привычном восприятии веры, перешедшей от деда к отцу, от отца к нему.

– Екатерина Вторая вас же, семейцев, сюда сослала, – пытался как-то повлиять на старовера Левонтьев. – Кнутом и огнем расправлялась…

– И то – ложь греховная. Екатерина да Павел вольность старообрядству вынесли. Не греши.

Сослав в отдаленные губернии основную массу старообрядцев, Екатерина Вторая разрешила торговлю купцам-старообрядцам, позволила носить им бороды, даровала права судебного свидетельства, уничтожила двойной налог со старообрядцев, позволила иметь своих священников (не везде, а лишь в Новороссийском крае) – и вон как в народе прослыла: избавительницей. Будто не ведал народ о расправе Екатерины с восставшими староверами в Таре? Сотни их гибли под пытками, сотни кончали жизнь самоубийством. Избавительница? Невероятно, но факт. Это говорит коновод…

В установившемся безмолвии Левонтьев почувствовал себя неуютно, а чем больше думал он о слепой заданности в вере хозяина, не рядового старообрядца, а коновода, тем страшней

становилось ему от все более укрепляющегося в его сознании вывода: «Не ведает народ, что творит…»

Что знает о Никоне нынешний старовер? Только то, что узнал из гневной исповеди Аввакума, и то уже переиначенной, подчиненной духу времени. Многие десятилетия минули с тех пор, как горели скиты с замкнувшимися в них упрямыми защитниками русского привычного уклада, и кто сегодня может поведать их предсмертные думы? Какие надежды лелеяли они, цепляясь за старину? А может, и не было надежд? Сказал им духовный наставник, что лучше смерть в огне и вечный рай, чем трехперстый крест и вечная геенна огненная, вот и шли на смерть. Не идеи ради. Ее, идею, знали немногие. Да и конечная цель борьбы ведома была только вождям самого высокого ранга, остальные же шли словно бараны за козлом, который мог привести стадо либо на обильный луг, либо под нож мясника.

А видят ли цель все те, кто сегодня размахивает клинками и не жалеет пуль друг на друга? Ведома ли им конечная цель? Большевистские газеты обещают раи райские, а антибольшевистские – ад кромешный. Поди разберись…

Левонтьев даже усмехнулся, вспомнив, как в свое время отец, перелистывая журнал, вдруг с пафосом прочел вслух, что, победи социализм, общество превратится в массу дикарей, наступит смерть всякой деятельности и всякого нравственного идеала, а затем так же торжественно представил автора: Олесницкий. Мимолетной была та сценка, каких в доме Левонтьева случалось множество, а, смотри ты, запомнилась. Запала, выходит, в душу угроза известного всей просвещенной России православного моралиста.

– Смешного, паря, нет ничего! – приняв ухмылку Левонтьева на свой счет, сердито проворчал хозяин. – Антихристовы слова у тебя, вот что я, паря, скажу! – И махнул рукой безнадежно. – Ну да прости тебя Христос. Не ведаешь, что глаголишь…

Дмитрий промолчал. Объяснять то, о чем он думал, было бессмысленно. Не день и не неделя нужны, чтобы вбитые в староверческую голову понятия хоть чуть-чуть поколебались. Убеждать да доказывать долго и упорно нужно, но у Левонтьева не имелось на это ни желания, ни времени. Докоротать бы день до вечера, соснуть несколько часов – и прощай гостеприимный хозяин.

Находя размолвку Левонтьева с хозяином и наступившее вслед за этим молчание нелепостью, казаки быстро определили, на какую торную тропку следует свернуть. Переглянувшись меж собою, заговорили с сомнением:

– В Зейской пристани каково без коней нам? Без коня казак не казак. Может, не бросим все же коней?

– Ишь ты, казак не казак, – враз откликнулся хозяин, – а без голов вы кто будете?

Началось незлобивое пререкание, такое, когда обе стороны вполне уверены, что ведут совершенно пустой разговор, но от этого он не утихает, а, наоборот, каждая сторона, поначалу нехотя, постепенно же все более упрямо держится за свое, все более горячится.

Левонтьев не вмешивался в спор. Более того, он вовсе не вникал в его суть. Он думал о том, что многое делается народом такое же никому не нужное, как и эта вот пустопорожняя перепалка, которая в итоге ни к чему не приведет. Газимуров все уже решил и поступит по-своему, тем более что он, Дмитрий, развязал ему руки до прибытия в Зейскую пристань. А там он, Левонтьев, стреножит их всех своей волей, как бы ни спорили они, как бы ни пыжились, что бы ни намеревались предпринять. Он настоит на своем. Но хотя удовлетворенность тем, что, пусть в малом, он все же отличается, даже в нелепом для себя положении, от простолюдинов, и тешило его самолюбие, хотя он от миниатюры своей проводил аналогию на всю страну, на все народы, хотя он и предполагал, что пройдет время и он встанет вновь в привычный ряд тех, кто диктует волю стране, он тем не менее тревожился мыслью и о том, что же ему предстоит делать в Зейской пристани послезавтра, с чего начинать? Этого Левонтьев пока не знал и, понятно,

думал о том, что ждет его в тайге, где придется шагать ему по какому-то пугающему своей непонятностью мандрыку, что ждет в самом городе?

Но как бы мрачно или радушно ни рисовал он в своем воображении неведомый завтрашний день, жизнь преподнесла совершенно невероятный сюрприз…

Что касается мандрыка, то тут оправдались самые худшие предположения. Затемно вышли они из дому на дорогу, по которой приехали в Овсянку, вдогонку им, словно желая доброго пути, закукарекали петухи.

– Припозднились, – недовольно буркнул хозяин, согласившийся проводить их до мандрыка. – Рассветет, того гляди. Шибче давайте.

Прибавили шагу. Только зря. Прошли километра полтора, свернули в лес, а рассвет едва лишь прорезался на востоке, и хозяин, не рискуя в темноте идти дальше, остановился вблизи опушки.

– Перегодим. Болотина там. Посветлу пойдем.

Терпеливо он ждал, когда в тайге станет совсем светло.

Вот наконец повелел сам себе: «Ну, с богом» – и позвал всех:

– Пора! Пошагали, айда.

Напролом повел, лишь когда встречались совершенные завалы, огибал их. И вывел прямо к старой полузатопленной гати, которая и была-то видна всего метров на двадцать – тридцать, а дальше исчезала среди кочек и тощего ржаволистого кустарника.

– Ну, слава богу, – удовлетворенно молвил хозяин, воздавая должное не своей изумительной способности ориентироваться в лесу, а богу, который наверняка ведать не ведал о пробиравшейся в тайге группе людей. – Слава богу!

Постоял самую малость и смело ступил на илистую, замшелую и казавшуюся совершенно сгнившей гать. Знал, видимо, что обманчив вид ее, что прочны еще бревна.

Гать под ногами сопела, вздыхала, хлюпала, но держала тяжесть людскую. Вот уже почти версту миновали, а гати впереди все двадцать – тридцать метров. Она как бы вылезает из-за кочек и хилых, как мокрая курица, кустов. Солнце уже начало припекать. Вскоре стало парно и душно, как в бане, когда заплескают излишней водой уже остывшую каменку.

Вторая верста позади. Бревна сопят и хлюпают, кое-где гать и вовсе затянута тиною, но не скользят сапоги, подбитые жесткой шерстью. Не набойки бы хитроумные, не раз пришлось бы хватать воздух руками да потирать ушибленные бока.

Осилили наконец гать, ступили на твердь земную, но не остановился проводник, не поинтересовался, устали или нет казаки и Левонтьев, зашагал еще спорей, словно подгонял его какой-то страх.

К полудню лишь, взобравшись до половины крутой сопки, оказались на едва приметной тропе. Хозяин и казаки пристально вглядывались в тропу несколько минут, затем Газимуров молвил с явным удовлетворением:

– Слава богу!

– Держись этого мандрыка, – дал последнее напутствие хозяин Газимурову, – не свертай. Так к пристани и выведет. Верст тридцать.

– Знакома она мне, – ответил Газимуров. – Хаживал по ней.

– Ну и ладно. Я, значит, обратно. Засветло к дороге успею, а уж домой – потемну. Авось неведомым останется уход мой никому.

На авось надейся, а сам не плошай – не с бухты-барахты родилась эта притча. Но в чем-то оплошал хозяин, где-то просчет получился у него. Только вернулся, только, благословясь, сел за ужин, забухали в калитку настойчивые кулаки.

– Кого черти несут? – стараясь побороть страх, проворчал хозяин и велел жене: – Отвори. Впусти.

Ввалилась в комнату разношерстная толпа: японцев двое, капеллевцев двое, сельских богатеев, из семейцев, несколько.

«Слава те господи! – обрадовался хозяин, увидев семейцев. – Не дадут изгаляться. Постращают только…»

Он был благодарен семейцам, что пришли те с японцами. Делать вид станут, что гневаются, а в конце концов защитят своего коновода. Решил не отпираться. Ответил охотно японцу на его вопрос:

– Да, проводил до мандрыка четверых старателей, чтобы, значит, заблудки не случилось. Почему по дороге не пошли? Побоялись. Ночью на Уркане грабеж случился, так не обвинили бы, дескать. Прежде знали ли? А то нет. Стал бы потчевать иначе да провожать. Один неведомый, но из офицеров он. К царю, сказывал, вхожалый.

Не скажи хозяин последних слов, все бы обошлось проще, а так – вцепились в него японцы и давай выспрашивать все до самых мелких мелочей: и рост какой, и волосы, полон или худ, глаза цвета какого, говорит как. И хотя хозяин пытался все порассказать в точности, но японцы не удовлетворились ответами и чуть было не увезли его с собой в Зейскую пристань. Не будь семейцев, каюк бы, считай, ему. Но те разыграли такую комедию, что не только японцев, но и каппелевцев убедили в том, что больше ничего не знает их односельчанин. Накинулись на него с бранью, заставили поклясться здоровьем семьи своей, что все выложил как на духу.

Истово перекрестился хозяин, скрепляя клятву крестным знамением, и это подействовало. Оставили в покое коновода староверческого и, заглянув еще в два-три дома, тоже безуспешно, подались обратно сыщики в Зейскую пристань… Предполагали, что упрек за бесполезные розыски получат, но и похвалу за сообщение о неизвестном офицере, которого ведут глухоманью в город казаки-семейцы. Вышло, однако, все не так. Совершенно безразлично выслушал их полковник и с подчеркнутой холодностью процедил:

– Вы мне больше не нужны.

Но как только остался один, сразу же вытащил из сейфа карту, развернул ее на столе и впился в нее глазами: «Завтра будут здесь. Нужно встречать!»

Убрал карту и вышел из кабинета. Поспешившего за ним адъютанта вернул обратно в штаб. Пошел по улице как хозяин, которому торопиться некуда вовсе и незачем, ибо дела идут прекрасно. Миновав несколько кварталов, свернул в тупичок, в конце которого неуклюже горбился массивный трактир с призывной вывеской: «Русская водка. Колониальные закуски». Едва начал подниматься на крыльцо, как появился хозяин, японец в китайской одежде, с подобострастной улыбкой и весь в поклоне.

– Дорогой гость, дорогой гость! – захлебисто лепетал он, кланяясь и пятясь, но, как только оказался в устланном коврами кабинете, распрямился и, дерзко глянув на полковника, надменно и негромко проговорил: – Русские таких, как вы, называют шляпами или раззявами. Я собрал золото для Японии, для великой Японии, а где оно?! Партизаны? Разве мало у вас солдат императора?! Честный самурай не продолжал бы жить!

– Я с приятной новостью, – пропуская мимо ушей последнюю фразу и стараясь держаться с аристократическим блеском, заговорил полковник. – Завтра в городе появится русский офицер. Знатный родом, имевший право входа в царский дворец. Я его приведу к вам, господин Киото.

– И что я буду с ним делать? – все так же, не меняя маски раздражения, спросил хозяин трактира. – Он вернет золото?! Если он руководил захватом золота, здесь не появится. Займитесь, господин полковник, поиском и уничтожением разбойников. Партизан ищите, если вам дорога честь…

Вмиг натянул маску подобострастия, перегнулся донельзя и попятился из кабинета, семеня пухлыми короткими ножками. И даже когда выпятился из двери, все еще продолжал лопотать услужливо:

– Сейчас будет, господин полковник, ваш обед. Очень скоро будет!

И в самом деле, половые, пышнобородые дауры, несли к кабинету на подносах и яства, и напитки.

Хозяин трактира Киото повторил то же самое с полковником, что тот с солдатами. Его, давнишнего разведчика, не могло не заинтересовать сообщение армейского полковника, который только один во всем городе знал, для чего здесь куплен у китайца трактир и кто такой он, Киото. Древнейшего самурайского рода, он приехал сюда по личной просьбе микадо. Великой Японии нужно золото. Ради этого он готов кормить комаров в этой дыре. Что-то, конечно, пристанет и к его рукам, но главное – просьба самого микадо! Киото не мог ослушаться. И ему просто не приходило в голову, что не своей волей и не по крупному делу пробирается в Зейскую пристань офицер знатного дворянского рода. И хотя русскую империю Киото воспринимал как взбесившийся улей, где пчелы грызут не только трутней, но и друг друга, он не думал всерьез, что ход вековой жизни может как-то измениться. Рано или поздно все уладится, матка станет откладывать яйца, трутни останутся трутнями, сторожа – сторожами, а рожденные добывать для всех пищу будут безропотно трудиться. Но пока идет грызня, можно увозить отсюда все, что можно увезти: из церквей не только золотые и серебряные оклады, но и сами иконы, ибо вкусы меняются, сегодня на икону просто молятся, завтра же она может стать древним искусством и будет стоить очень дорого, с приисков – золото, с заводов – оборудование, с полей – хлеб и сою. Но главное все же – золото. Увозить его нужно все, до самой последней песчинки. Для этого он, Киото, здесь. И он не потерпит, чтобы ему кто-то мешал. Ротозея-полковника заменят, а русского офицера обезвредит он сам. Тихо уберет. Вначале только узнает цель его приезда, чтобы знать, чего опасаться в будущем. Он не станет устраивать засады на дорогах к городу, но как только офицер появится в каком-либо трактире или кабаке, он, Киото, тотчас узнает об этом. Во всех злачных местах имелись у Киото свои люди.

Знал бы Киото, из-за какой нелепой случайности оказался здесь Левонтьев, смеялся бы от души над своими опасениями и планами обезвреживания важного противника…

Левонтьев шагал по узкой каменистой тропе, которая то безжалостно петляла по откосам сопок, то круто поднималась вверх, то так же круто спускалась вниз, – она была настолько неловкой, что на ней вначале только встречались кабаньи следы – отура, как казаки их называют, затем им на смену появились только следы диких козлов – гуранов. Даже лоси избегали мандрык. Дмитрий уже утомился не только от бесконечных подъемов и спусков, но и от беспросветной плотности крупноствольных деревьев, закрывавших и горизонт, и небо над головой, от оранжевого багульника, густо цветущего везде, где только есть возможность ухватиться корнями либо за землю, либо за трещину в камне. Левонтьеву хотелось лечь, пусть на жесткий и холодный гранит, и, закрыв глаза, лежать бесконечно долго, но перед ним маячила спина Газимурова, мерно покачиваясь в такт неспешному шагу, и он, представляя себе высокомерно-снисходительный взгляд, которым одарит Газимуров в ответ на просьбу о привале, шагал, преодолевая себя.

Дмитрий Левонтьев не хотел унижения. Не хотел упускать отбитые у Газимурова позиции верховенства…

Ночь перемогли на косогоре, выбрав место поровней да погуще устланное хвойными иголками, слежалыми от многолетия, подопрелыми, но все равно дурманно пахнущими смолой. Костра не разводили, поужинали всухомятку, и всю ночь держали казаки поочередно караул. Одного Левонтьева не трогали, но он сам часто просыпался, ощущая какую-то близкую опасность.

Почувствовал себя Левонтьев вольней, уверенней лишь к середине следующего дня, когда все чаще и чаще стали попадаться светлые поляны, на которых горбились стожки, недавно сметанные. И хотя Газимуров обходил поляны и сторонился дорог, продолжая петлять по склонам сопок, но Левонтьев уже предвкушал скорый конец трудного пути.

И верно, они вскарабкались на крутую сопку с залысиной, и Левонтьев расплескал взгляд по немереной длины долине, словно перепоясанной голубым широким поясом реки и уставленной многими десятками осанистых домов. И как-то удивительно было видеть совершенно чистую от леса и даже кустарника широченную полосу, подковой огибавшую дома и упиравшуюся концами в речной берег.

Не только села и станицы боялись и нижнего, и, особенно, верхового лесного пала, но и город.

Что же приготовил этот отгородившийся от возможных пожаров пустырем город для него, Левонтьева?!

– Стемнеет как, пойдем, – садясь на пенек под разлапистой лиственницей, проговорил Газимуров. – Выпяливаться резону нам нету.

Казаки разместились, найдя для себя удобные места под деревьями, а Левонтьев продолжал стоять и смотреть на город. Только размером он отличался от забайкальских казачьих станиц. Еще и тем, что торговых рядов было здесь несколько. Один, самый большой, двухэтажный, как и надлежало ему, располагался в центре, отделив себя от домов внушительных размеров площадью с коновязями, у которых стояло множество коней и подвод. Другие, поменьше, на подклетях, высились на всех четырех окраинах почти в одинаковом удалении от центра. Окружающие их площади тоже были поменьше, да и не так людны и лошадны. Все остальные дома походили на близнецов, хотя конечно же каждый дом имел свой размер, свои резные наличники и ставни, у каждого на свой манер было сделано крыльцо, да и двор, но расстояние скрадывало различия, однообразило дома, и Дмитрию виделись они шаблонными, отпугивающими своей невзрачностью. Даже дымы, торчавшие из труб, казались Левонтьеву совершенно одинаковыми. Погрустнел Левонтьев от всего этого, и та уверенность, которую он почувствовал на исходе пути, стала стремительно улетучиваться.

– Уйди с плешины, – попросил Газимуров. – Углядят, не дай бог, япошки…

Нехотя отступил в лес Дмитрий, вяло опустился на хвойную мягкость под кедрачом, прилег спиной к его корявому стволу и вскорости, сам того не заметив, заснул глубоко и безмятежно.

Так и проспал бы невесть сколько, если бы не разбудил его Газимуров:

– Спускаться, паря, пора.

Темень непроглядная укрыла все вокруг, только далеко внизу густо желтели слабым светом керосиновых ламп квадратики окон. Окна те то в одном, то в другом конце меркли, освобождая место темноте. Город засыпал по-деревенски рано, чтобы также по-деревенски пробудиться вместе с петухами.

– Пошли. Я передом, ты, паря, – приказ Левонтьеву, – в шаг за мной. Не отстань. Заблудка случится, до беды тогда недалеко.

Едва различал Левонтьев тропку, спускавшуюся с сопки, а Газимуров шагал уверенно, словно по освещенной мостовой. Время от времени только оборачивался, не отстали ли далеко казаки. Пока спускались, все окна на окраине города угасли либо закрылись ставнями, но это, похоже, совершенно не смутило Газимурова: скорым, но неслышным шагом он вел своих спутников в темноте по пустырю без колебаний.

Дома зачернели отпугивающе неожиданно для Левонтьева, а Газимуров прошел мимо двух первых, остановился у третьего и постучал двукратно в калитку, которая была вделана в глухие ворота. Брехнула во дворе собака и умолкла. Газимуров повторил двукратный стук. Собака вновь лениво тявкнула, послышались неспешные шаги, и тут только собака залилась визгливым лаем, но хозяин прикрикнул, и она, гавкнув для порядка еще раз-другой, умолкла.

– Кого бог послал на ночь глядя?

– Открывай, Константиныч. От Кырена мы. Газимуров.

– Милости прошу! Жданки все съели. От Кырена весточка давно дадена. Слава богу, стало быть, раз здесь.

Осенил себя двуперстием.

«И здесь старовер. Надежны, видно, в тайных делах эти семейцы», – думал Левонтьев, здороваясь с хозяином и проходя вслед за ним в жилую часть дома.

– Вот сюда, – заходя в просторную комнату, пригласил гостей хозяин. – Туточки окон нету на улицу, вот и закеросиним лампу безбоязно.

Впотьмах нащупал спички, чиркнул, и вот уже семилинейная лампа наполнила комнату ласковым желтым светом.

– Пока старуха пельмени стряпает, о деле поговорим, – приглашая гостей рассаживаться на лавке, что стояла у массивной печи и была покрыта домотканой холстиной, предложил хозяин. – Урок не из зряшных. Азойный урок. Это тебе не вьюн водить: ты ли застукаешь, тебя ли опередят – велика ли беда? А золото – оно кровь льет, жизни губит не жалеючи…

– Прознали хоть что-нибудь? – прервал хозяина Газимуров. – Неуж под пьяную руку не хвастанул кто, где позалук оставил?

– Не удалось. Бражничают, спасу нет, а вот где жилы аль позалуки, помалкивают.

– Нам жилы не нужны. Нам намытое определять до места, либо засады засадить на ходоков-золотонош.

– Я считаю, нам следует иметь своих людей в том месте, где старатели приобретают продукты. Трактир, облюбованный старателями, тоже под свой глаз возьмем, – попытался Левонтьев взять в свои руки нить разговора, но тут же получил отповедь.

– Аль людей у вас дюжин с десяток? – с искренним удивлением поинтересовался хозяин. – Четыре всего, гляжу я. Ну, у меня пяток наскребется. А кабаков здесь – две дюжины, почитай. И всюду гуляет, прости господи, рванина фартовая. Спустит за неделю все золотишко намытое да еще и последние, прости господи, штаны, одолжит харч – и в тайгу.

– Выходит, трактирщики все сгребают в свои руки?

– А то кто? Только не держат здесь. Увозят. В Благовещенск, в Читу. В Хабаровск даже. Не меньше и за кордон.

– Знать бы, кто и когда повезет, и всего делов. Кырен бы довольный был и нам не в тягость служба, – проговорил мечтательно Газимуров, но фантастическое, на взгляд Газимурова, желание Левонтьеву показалось подходящей программой для действия. Как бы ставя точку обмену мнений, заговорил категорически:

– Сейчас же распределим трактиры, чтобы взять их под контроль. Я возьму самый крупный.

– Самый крупный у китайца намедни японец перекупил. Лопоть, верно, и у нового китайская, но по морде – японец. Вывески не сменил: «Русская водка. Колониальные закуски». Сдается мне, шибко махтарый. Многих промышленников загубил, антихрист. Ох, многих, прости душу грешную. Опасливо туда…

– С него и начну, – еще более уверенно заявил Левонтьев. – Остальные – делите. Докладывать мне каждое утро, кто привлечен в помощники, что разведано. Возражений не принимаю! – резко бросил Газимурову, пытавшемуся что-то сказать. – Время разговоров осталось в тайге! Настало время действий! Строго спрошу, кто не поймет этого.

Подействовало. Безропотно принялись обсуждать казаки и Константиныч, в какие кабаки кому определяться, и когда в комнату вошла хозяйка с приглашением отведать пельменей, все уже знали, с чего начнут завтрашний день.

Провожатого с собой утром Левонтьев не взял. Спросил лишь, в какой стороне трактир. Искал не так уж долго. Вот он, всем видом своим говорящий о процветании. Манит и основательной домовитостью, и яркой нелепой вывеской. Неспешно Левонтьев поднялся на крыльцо и только взялся было за ручку двери, она отворилась, а через порог шагнул навстречу низко-

рослый, упитанный японец в китайском халате. На круглом, как полная луна, лице его светилась добродушная улыбка.

«Хозяин встречает! – настороженно подумал Дмитрий Левонтьев. – Есть наблюдение за улицей. Неспроста. Ухо востро нужно держать».

Но он не успел даже опомниться, как оказался в капкане. Отступив на шаг и склонив голову, хозяин пролепетал подобострастно:

– Господина гостя, милости проходите…

Вошел, естественно, куда деваться. И тут рослый даур с лопатоподобной бородой жестом пригласил Левонтьева следовать за собой. Провел в отдельный кабинет и оставил одного.

«Странно. Кабинет отдельный. Я же одет, как обычный старатель, – размышлял Левонтьев, оглядывая мягкие, алого бархата, стулья, приставленные к дорогой работы столу; диван, тоже обитый алым бархатом, экзотические рисунки на голубом гобелене, которым были задрапированы стены кабинета, и вдруг взгляд его, скользивший по райским птицам и смазливым китаянкам, наткнулся на потайную дверь. – Странно! Отдельный кабинет! Потайная дверь…»

Достав из кармана наган, проверил на всякий случай, полон ли барабан.

Но напрасными показались Левонтьеву все тревоги, когда в кабинет бородатый даур внес на подносе штоф водки, вокруг которого, как услужливые слуги, толпились чашечки и тарелочки разной формы и раскраски с закуской.

– Если теперь деньги нету, когда тайга воротишься, дашь мало золота. Расписку только пишешь, если карман пустой.

«Вот в чем суть приветливости. Ввести в должники», – успокоенно подумал Левонтьев, налил рюмку водки и ответил, подражая забайкальскому говору:

– Можно, паря, и расписку дать. Завсегда можно. Фарт схвачу, позалух ладить не стану, сполна расплачусь.

– Фарт где? Один скажет – на Чалумане, другой Нарангу назовет. Ты куда идешь?

– Есть место… – с хитроватой неопределенностью ответил Левонтьев, вовсе не понимая, что выдал себя с головой.

Ему бы поинтересоваться, о каких местах даур сказал. Не существовало в тайге ни Чалумана, ни Нарангу, а были Чульман и Нерюнгри, названия которых умышленно исковеркал даур. К тому же до них от Зейской пристани было верст пятьсот, и никто отсюда туда не ходил. Там своя база – Тында. Но не знал этого Левонтьев. Не впился в даура взглядом любопытно-жадным, как поступают обычно старатели, услышав о новом для них золотоносном районе, не стал выпытывать, какой туда путь самый легкий, а равнодушно опрокинул рюмку и закусил маринованным стебельком бамбука.

– Хозяин слышал, много золота в Чалумане. Шибко много.

– Погляжу, – все с той же хитроватой неопределенностью ответил Левонтьев, отправляя в рот ломтик запеченного в тине сала. – Погляжу. Может, Чалуман облюбую.

Поставив последнюю чашечку с каким-то темным соусом, даур поклонился почтительно и вышел.

«Ишь ты, даже совет дают, куда идти. Так и ведут дело, так и процветают», – думал Левонтьев, выбирая, что более подходит для еды. Не плавники же акулы глотать?

Налил еще рюмку. Но едва не упустил штоф: пальцы не держали, они вовсе не чувствовались.

«Да что же такое?!»

А через миг уже не подчинялись ему ни руки, ни ноги. Сознание, однако же, было ясным, и оттого трагичность положения виделась в полном объеме.

Щелкнул замок входной двери кабинета, почти одновременно отворилась потайная дверь, и в кабинет вошел хозяин, сопровождаемый двумя такими же низкими и плотными японцами, одетыми тоже в китайские халаты.

Сколько было силы воли у Левонтьева, всю он сконцентрировал на том, чтобы побороть ватность руки и вытащить из кармана наган. Он физически ощущал в ладони твердую рукоятку, он нажимал на спусковой крючок и видел, как падают круглолицые японцы… Но рука его едва только шевельнулась.

Осторожно, как тяжелобольного, подняли Левонтьева японцы и понесли темным, без окон, узким коридором, протиснулись в такую же темную, тоже без окон, комнатку, где стоял лишь стол с горевшей на нем трехлинейной лампой, возле которой лежал небольшой кожаный футляр. К столу приставлены два стула. Один жесткий, грубой работы, другой полумягкий с высокой спинкой, как у трона, и голубого бархата сиденьем.

Японцы посадили Левонтьева на жесткий стул, положили на стол руки ладонями вниз, как велит иной раз строгая учительница расшалившимся ученикам, поклонившись хозяину трактира, вышли из чулана, плотно прикрыв за собой дверь.

Японец вкрадчиво, как показалось Левонтьеву, прошел к своему стулу, с такой же вкрадчивостью раскрыл футляр, и сердце Левонтьева екнуло при виде разной длины и конфигурации игл, блестевших ровным рядком в гнездышках красного бархата.

«Это не плетка Кырена!»

Взяв самую тонкую иглу, японец принялся рассматривать ее, поворачивая перед лампой, словно пытаясь определить, есть ли какой дефект, остался доволен осмотром, взял пальцы Левонтьева в свою пухлую, но, как почувствовал Дмитрий, сильную руку и спокойно, чуть вращая иглу, запустил ее под ноготь. Болью пронзило все тело, дикий вскрик невольно выплеснулся в полумрак комнаты, японец выдернул иглу и очень спокойно упрекнул:

– Офицера, а так кричит… Совсем не больно! Шибко больно станет, если офицера не скажет, кто и зачем прислал его сюда.

Левонтьев не видел никакого смысла таить цель своего здесь пребывания, он боялся лишь повторения того, что творил с ним и Хриппелем есаул: ответ не удовлетворит японца, и каждый новый вопрос будет сопровождаться уколом иглы. Это действительно, как говорил в Овсянке Газимуров, не удар плеткой. С ума сойти можно от адской боли…

– Обстоятельства появления моего здесь столь же печальны и нелепы, как все, что происходит сегодня во всей России. Я готов рассказать все, как на исповеди, если господин…

– Киото.

– Если господин Киото соблаговолит выслушать.

– Киото готова.

Подробно, не скрывая даже своих разочарований в монархии, пересказал Дмитрий Левонтьев о делах Тобольских, затем, не избегая гневных слов, поведал об есауле Кырене и его задании заниматься здесь самым настоящим грабежом.

– Я пограничник. Служба моя заключалась в борьбе с контрабандным хищением золота, теперь же я, волею рока, сам низвержен на самое дно преступности, – закончил рассказ Левонтьев. – Можете пытать, ничего иного добавить не имею, ибо сказанное мной – истина.

– Кырен-есаул – злой. Киото – хорошо. Киото верит. Киото отпускает офицера. Только помнит пусть офицера: наша разговора – наша тайна. Очень плохо, если тайна уйдет!

Крикнул что-то тягуче, дверь моментально отворилась, вошедшие японцы подняли Левонтьева и понесли обратно по узкому темному коридору.

В кабинете все оставалось по-прежнему. Даже недопитая рюмка водки была нетронута. Киото достал из кармана флакончик, открыл пробку и поднес флакончик к носу Левонтьева. Пронзительный запах ландышевого цветка, истомное кружение головы, и тут же руки и ноги начали обретать силу. Левонтьев сунул руку в карман, обхватил твердую рукоятку револьвера… Но хватило разума оставить оружие в покое.

Киото все же понял намерение Левонтьева и предупредил:

– Офицера станет стрелять Киото, Киото может убить офицера. – Спокойно повернулся и вышел из кабинета в потайную дверь.

А через четверть часа в кабинете появился даур-половой. Он либо и в самом деле не знал о том, что здесь происходило, либо ловко играл свою роль: удивлялся тому, что гость мало ел и пил, предлагая другие, по вкусу, закуски, а когда Левонтьев, от всего отказавшись, поблагодарил за любезность, тот положил перед Левонтьевым заготовленный договор: хозяин трактира кормит гостя и снабжает его продуктами за два фунта золота.

– Сильно дешева, – искренне восхищался нескаредностью хозяина даур. – Другие – жадные. Три фунта отдай.

Левонтьев подписал, где ему было указано, условился об ужине и поспешил из трактира. Ему о многом предстояло подумать. Положение, в какое он попал, казалось ему как предельно нелепым, так и смертельно опасным. Он был буквально озлоблен на себя. Авторитетный в пограничных войсках офицер (а авторитет рождается не сам по себе) превратился в тряпку, о которую всякий может вытереть ноги, а затем вышвырнуть за ненадобностью.

«Нет! Они еще не знают меня! – грозил Левонтьев есаулу и особенно трактирщику-японцу, который даже револьвера не отнял, ушел как от совершенно никчемного и безопасного человека. – Я еще постою за себя!»

Но как оградить свою честь от поругания и покончить со столь неловким положением своим, Дмитрий пока еще не знал. Шел по пыльным улицам города, распалял злость. А она не спутник толковым мыслям.

Решение возникло внезапно. В скобяной лавке, куда он вошел, можно сказать, бесцельно. Увидел ее – и вошел.

Лавка битком набита разного размера лопатами, кирками, косами, вилами и другими необходимыми в хозяйстве, но главное, старателям вещами. Покупателей немного. Двое крестьян-бородачей выбирали ножовки, обмениваясь новостями.

– Слышь, а Семен-трактирщик так и не объявляется. Умыкнули, должно…

Пронзила Левонтьева дерзкая мысль, даже жарко сделалось вдруг в лавке. Вышел на улицу.

«Умыкнули». «Не объявлялся». Сегодня же взять японца! Сегодня!

Теперь он ходил по городу уже с явной целью: если кто за ним наблюдает, собьется с толку. Заходил в лавки, приценивался к товарам, заговаривал с мужиками, предлагая создать артель старателей, и даже после того, как повстречался с Газимуровым и сказал ему о своем решении, продолжал ходить от трактира к трактиру, от лавки к лавке до самого ужина.

В трактир возвращался, перемогая страх. Нет, он больше не хотел сидеть в комнате без окон, не хотел видеть изящной отделки футляр с иглами, боялся нового укола под ноготь, считая, что просто не выдержит его, но он сам поставил условие Газимурову действовать лишь после того, как войдет в трактир, поэтому усилием воли заставил себя подняться на крыльцо и открыть дверь.

Его не пригласили в отдельный кабинет, Киото не вышел встречать, и это немного успокоило Левонтьева. А когда половой указал ему на свободную табуретку за общим столом и поставил штоф водки и убогую закуску в небрежно помытых тарелках, не страх, а брезгливость и обиду за такое невнимание пришлось подавлять в себе, чтобы остаться в этом прокуренном, грязном и пьяном сарае.

Поспешно налил водку в захватанный жирными руками стаканчик и, преодолевая тошноту, торопливо проглотил обжигающую сивуху. Налил еще один, и острота чувств притупилась, окружавший его пьяный мир и грязность стали восприниматься более терпимо.

Вскоре с ним заговорили, и он, стараясь подражать газимуровскому выговору, отвечал на расспросы охотно, сам интересовался тем, в каких местах больше вероятности «схватить фарт».

Оборвал этот «ознакомительный» разговор грубым вмешательством похожий своим телосложением на гориллу казак:

– Ты вот что уразуми: кабатухой не укроешь белой кости своей, но все одно беру тебя в свою артель. Грамотный, счетоводить станешь. Вот прогуляю остатный фунт песку – и айда. Ну, как? По рукам? Это я предлагаю – Никита Фарт!

Спрыснули состоявшийся сговор. Не стаканчиками, а стаканами гранеными. Левонтьев уже начал хмелеть, но крепился предельно, запоминая все, что спьяну выбалтывали старатели. Поднялся из-за стола, когда уже трактир наполовину опустел, а Никиту Фарта, который не в меру расходился и стал бить посуду, дружки-артельщики с трудом скрутили и выволокли из трактира.

До самого дома Левонтьев никого не встретил и растревоженно думал: «Неужто Газимуров не понял меня?»

Постучал двукратно в калитку, и она тотчас отворилась, словно нетерпеливо ожидали его прихода.

– Газимуров дома? – спросил Левонтьев хозяина, как только тот запер на засов калитку.

– Где ж ему быть, прости, Господи, – испуганно-горестным голосом выдавил Константиныч. Вздохнул и спросил жалостно: – Что теперича будет, Господи? Дом спалят японцы, петлю всем на шею. За какие грехи, Господи?

– Взяли, стало быть, трактирщика?

– Приволокли, прости Господи…

Борода у хозяина тряслась, как в сильном ознобе, и это особенно обрадовало Левонтьева: значит, в яблочко выстрелил, значит, многого можно будет добиться, подчинив японца себе. Он ликовал, предвкушая увидеть надменного японца униженным, просящим пощады. О возможных трагических последствиях свершенного Левонтьев не думал. Эти мысли появятся у него лишь на следующее утро, не в хмельной голове. А пока, гордый собой, он вошел в комнату, где за самоваром сидел Газимуров и, нарушая принятую здесь этику, потребовал немедленного доклада о выполненном приказе.

Отставил Газимуров чашку, посмотрел насупленно на Левонтьева, ответил односложно:

– Никто, должно, не видел.

– Сопротивлялся?

– Заверещал, скакнул гураном и давай лягаться. Оплеуху смазал ему, под белы рученьки – и в баню. Двух на часы поставил. Не дай бог, удерет…

– Молодцом, – похвалил Газимурова Левонтьев. – Стерегите пуще глаза.

Утром, увидев трясущуюся бороду хозяина и угрюмое лицо Газимурова, спросил с ухмылкой:

– Что, Константиныч, не перемог страх?

– Дык, как тебе, паря, разъяснить? Зазря ты все затеял. Шила в мешке не утаишь. Проведают японцы, вот те крест, проведают. Каппели им помогут. Жди с часу на час гостей. На волоске жизнь наша.

Такой откровенный упрек и такой откровенный панический страх хозяина дома озадачил Левонтьева, а чем больше он осмысливал положение, им самим созданное, тем неуверенней себя чувствовал.

Не знал Левонтьев, что об исчезновении Киото давно уже доложили полковнику, но тот даже обрадовался тому известию. С исчезновением Киото погибнет и правда об отбитом партизанами золоте. Нет, полковник не собирался поднимать гарнизон. Но откуда было ведать в доме, где держали взаперти Киото, о намерениях полковника, и тревога, нагнетаемая хозяином, нарастала подобно снежному кому.

К тому же совершенно ничего не получалось у Левонтьева с допросом. Точнее, получалась настоящая комедия. Левонтьев требовал от Киото, чтобы тот указал, где спрятано золото, но японец лепетал лишь одно и то же:

– Я, господин офицера, совсем не богатый. Все отбирает полковник. У него золото. Если господин офицера у него спросит, полковник скажет: «Киото правду говорит».

И даже на вопрос, кто из других трактирщиков имеет золото, отвечал тем же лепетом. Левонтьеву хотелось от всей души размахнуться и ударить всласть по этому лоснящемуся от жира жалобно-грустному лицу, но он только брезгливо морщился.

«Кулак – дело Газимурова».

До самого обеда длился в бане спектакль одного актера. В безнадежном отчаянии вернулся Левонтьев в дом, а там – будто покойник лежит. Константиныч то и дело крестится, пришептывая: «Прости душу грешную». Лицо, словно у желтушного. В глазах тоска пронзительная. Положение, как бы сказал отец Дмитрия, хуже губернаторского. Не подает, однако, Левонтьев вида, что тоска сердце гложет. Распоряжается:

– Отправь, Газимуров, казака одного на разведку. Кроту незрячему впотьмах сидеть сподручно, а нам негоже. И давайте обедать.

Ели молча и безаппетитно. Оживились немного, когда вернулся разведчик и сообщил, что в городе покой и благодать. Только Константиныч не успокоился.

– Хватятся еще. Как пить дать – хватятся. Залютуют.

– Пока суд да дело, давай, Газимуров, в баню, – приказал Левонтьев. – Побеседуй с японцем. Лицо не повреди только. Поаккуратней.

И газимуровская беседа оказалась без проку. А на следующий день повторился в бане спектакль. Твердил японец как заведенная кукла:

– Я, господин офицера, совсем не богатый. Все отбирает полковник… Киото правду говорит.

Хоть плюнь на все и отправляй японца к его праотцам. Не отпускать же его? Тогда уж точно мученической смерти не миновать. А кому такое по душе?

– В тайгу его? – спросил Газимуров, улавливая настроение Левонтьева. – Сделаем так, комар носа не подточит.

И тут мелькнула жестокая мысль: раздеть донага, открыть окна и двери, а чтобы не закричал, кляп в рот. Не захочет помирать, подчинится.

– Не в тайгу. Пусть здесь комары свои носы потешат, – решительно ответил Левонтьев. – Раздеть, связать, рот заткнуть.

Подождал, пока выполнят казаки его приказ, поставил рядом с головой Киото тазик и посоветовал усмешливо:

– Надоест комедию ломать, постучи головой в таз. – И казакам бросил: – Всю ночь втроем охранять. Стукнет в таз – зовите меня.

Повернулся и шагнул к двери. Казаки – следом.

– Глаз да глаз. Не дай бог, сбежит. Если что, лучше придушить, – еще раз предупредил Левонтьев казаков и направился было к дому, но услышал доносившийся из бани стук. Остановился, поднял руку, чтобы притихли все. Стук повторился.

«Ишь как быстро сообразил, что к чему, – удовлетворенно подумал Левонтьев. – Не успели еще комары налететь».

Вернулся в баню и вынул кляп. Спросил резко:

– Будем беседовать?!

– Иначе я не стал бы вас возвращать. Прошу развязать меня и распорядиться, чтобы мы остались одни. Совершенно одни, – без малейшего акцента заговорил Киото. – Нам не понадобятся свидетели.

– Хорошо.

– Вы – офицер, я – самурай. Самим богом предписано нам на роду блюсти верность императору, защищать его до последней капли крови. Именно эта верность и привела меня сюда. В ином положении вы. У вас нет императора, вас плеткой пригнал сюда какой-то безродный есаул. И вы не задумывались над тем, почему такое могло случиться?

– Много раз, – невольно попадая под влияние уверенного в себе японца, ответил Левонтьев. – Творится на Руси невообразимое…

– Самое подходящее слово. И для меня тоже не вполне ясны силы, которые породили хаос, но я предвижу будущее вашей нации. Она потеряет себя. Нет-нет, не пытайтесь возражать, а лучше последите за ходом моей мысли и тогда поймете, сколь логичен мой вывод. Ваша революция под корень изведет дворянство, эту самую благородную и мыслящую часть нации. Здесь у вас нет, что возразить, ибо вы прекрасно понимаете, что даже вас ждет смерть. Есаул убьет вас, как и вашего сотоварища, как только заездит вас. И это, заметьте, произойдет в стане ваших единомышленников. А как поступает с дворянами и даже их семьями чернь, не мне вам рассказывать. Цвет нации, таким образом, срублен будет под корень. Но беда для вашей нации не только в этом. Сильные люди, целеустремленные люди в критические моменты жизни страны, это подтверждает история, выходят на арену. Золото отбил у нас Кошелев. Это не пьяница старатель. Это – личность. Боровницкий здесь еще был. Создавал, как они называют, ревком. Тоже – личность. Они погибнут в тайге, погубят вместе с собой сотни честных и сильных людей. Останутся Кырены. Останутся такие, как тот, у кого вы останавливались в Овсянке, – предатели и трусы. Теперь давайте порассуждаем вот о чем: ценою огромных потерь дворянство с помощью цивилизованных стран одолеет чернь, но и тут возникает новая, неведомая прежде проблема. Плеткой подчинивший вас есаул уже почувствовал власть, почувствовал себя рабовладельцем. Только смерть избавит его от мании величия. Без нашей помощи – Япония и Америка в Сибири, Англия, Франция, Германия в европейской части – не навести должного порядка вам в своей стране… Потребуется смена многих поколений, пока нация обретет прежние благородство и силу.

Дмитрий Левонтьев слушал чистую, с прекрасным выговором речь японца и поражался смелости оценок и выводов. Какими осторожными казались ему теперь те споры, которые возникали вечерами в салоне между его отцом и Михаилом Богусловским. А тогда они шокировали Дмитрия своей оголенностью и категоричностью. По-новому воспринимал он все пережитое за последние месяцы. А впереди что? Беспросветность.

Не мог конечно же не понимать Левонтьев тенденциозности в логическом построении японца, но видел в нем и весьма точные выводы.

Киото тем временем продолжал:

– Вы накормите тьму комаров моей кровью, вашу кровь высосут комары где-нибудь в тайге, если мы не поймем друг друга, я предлагаю: вы поддержите меня и моего императора, а когда чернь будет уничтожена, я и мой император поможем вам установить прежний порядок, обуздать непокорных.

– Я давал присягу царю и Отечеству.

– Но вы же рассказывали, что разочаровались в монархии. Или то была ложь, порожденная боязнью перед болью?

– Нет. Слово офицера.

– Тогда о чем речь? Не думаете же вы всерьез цепляться за то, чего нет? К тому же у вас невелик выбор. Комары или… Сегодня же ваших церберов предупредят: если они хоть пальцем тронут вас, не просто отправятся на суд к своему богу, но прежде проклянут тот день, когда мать родила их. Я предоставлю возможность вашим казакам перехватить нескольких золотоношь, а золото вы доставите не есаулу, а самому Семенову. Этому я посодействую. Тогда вы сможете отомстить и есаулу-плеточнику, и церберам за свою попранную честь.

Глава вторая

Командир сводного пролетарского отряда Стародубцев встретил Иннокентия Богусловского с обычной вальяжностью. Не предложил сесть, а многозначительно изрек:

– Большие дела, молодой человек, ждут вас. Я бы так сформулировал: большой государственной важности!

«Наконец-то», – подумал Богусловский, но вместо удовлетворенности, неожиданно и безотчетно, охватило его тоскливое предчувствие чего-то недоброго. Сильное, до тошноты, до холодной испарины на лбу, до безвольной ватности в руках.

Озлился на себя Иннокентий. Ведь он ждал решения своей судьбы уже несколько дней. Ждал с нетерпением. После того как деблокировал сводный отряд Кокандскую крепость, Стародубцев привез Богусловского в Ташкент, поселил в добротном караван-сарае и каждый день водил «по начальству». Богусловского внимательно слушали, когда он рассказывал об обстановке на границе, о расколе казаков, его самого знакомили со всем, что происходит в Туркестане. Особенно, как понимал Богусловский, всех беспокоит то, что в Закаспии держится только Кушка, все остальное захвачено контрреволюцией, а Дутов, недавно выбитый из Оренбурга Красной армией, копит силы в Тургайской степи, чтобы вновь захватить город. А это приведет к тому, что Туркестанская республика окажется полностью отрезанной от России…

После таких бесед, которые повторялись в своей основе в каждом новом кабинете, Богусловский возвращался в устланную кошмами и обитую коврами комнату в караван-сарае и ждал следующего дня. О многом он передумал, много планов, интересных с его точки зрения, рождалось в долгие часы ожидания.

И вот ему сообщают: ждут дела. Радоваться бы, а оно вон как обернулось. Тоска неуемная навалилась.

Стародубцев же, вовсе не замечая состояния Богусловского, продолжал:

– Решили мы доверить тебе ответственное дело: организацию охраны границы Туркреспублики в Семиреченской области на наемно-добровольном принципе. Подберем мы тебе десяток крепких помощников из красноармейцев-коммунистов, из военспецов, и, как говорится, – большого полета.

И разочарованность, и удовлетворенность, даже гордость – все одновременно. Молодо-зелено, а уже командир, если по прежнему штату, отряда, а то и выше бери – отдела. Но лелеял он мечту стать штабным работником. Была она, согревала душу, будоражила мозг и вдруг – совершенно неожиданное, негаданное. Такова армейская доля. Пограничная доля. Не согласен если, кто тебя держать станет? Скатертью дорога на все четыре стороны. Но тогда ты, хочешь или нет, станешь если не врагом, то и не союзником рождающейся свободной России.

– Срок отъезда?

– Сутки на сборы. До станции Бурное – в вагонах. Дальше путей нет, дальше – верхом. Маршрут определите сами. Достаточно будет времени приглядеться и к подчиненным, оценить возможности каждого. Мандат получите с большими полномочиями, но не забывайте: полномочия останутся полномочиями, если пренебрегать решительной настойчивостью. Думаю, понятно?

Богусловский даже улыбнулся, вспомнив встречу со Стародубцевым и представив себя на его месте.

– Не берите под сомнение мой совет, – еще настойчивей заговорил Стародубцев, осерчав на улыбку Иннокентия. – Интеллигентская мягкость сегодня не ставится ни в грош. Если хотите быть на высоте положения – наступайте, атакуйте, не давая возможности возражать или даже советовать. Повторяю: только твердость может гарантировать успех. Весь мой опыт этому учит.

Не стал полемизировать Богусловский. У него есть свое мнение, но этот самоуверенный человек не станет его слушать, а время дорого, тратить его на словопрения очень жалко. Понимал, однако, Богусловский, что поступал неверно, молчаливо выслушивая и, стало быть, поддерживая не столько целеустремленность, сколько наглую чванливость. Он, Богусловский, жалея время, промолчал, другой промолчит, третий, глядишь, человека, и без того не обремененного скромностью, вовсе не узнать. Непогрешимым в поступках себя видит, не терпит никакого возражения. А многим и непонятным будет, отчего это, как родилось, как выпестовалось? От лености нашей. Делай, мол, свое дело добротно, а остальное – мелочь, суета сует. Но может, и от робости?

– Если все ясно, – продолжал тем временем Стародубцев, – тогда – за дело.

Вскачь понеслось время, закусив удила, не передернешь повода, не осадишь. Увы, далеко не все чувствовали эту стремительность. Накладные выписывались и визировались с черепашьей неспешностью, а каптенармусы, прежде чем выдать положенное, долго вчитывались в каллиграфические строчки, словно в руках держали папирус с неведомыми иероглифами и пытались распутать великую тайну седой древности. Обстоятельными, раздумчивыми были и напутственные беседы. И, как казалось Богусловскому, вовсе лишними, ибо все они заканчивались примерно одной и той же фразой:

– Опыта пограничного вам не занимать, на месте сориентируетесь и станете действовать, сообразуясь с обстановкой…

Но как бы ни волокитилось время, в урочный час все было погружено в вагоны, прицепленные к попутному составу, паровоз пронзительно визгнул, прошипел змеино паром, натужно лязгая, пробуксовал раз-другой, затем захлебывающийся лязг прокатился от вагона к вагону, и поезд тронулся.

– Можно и отдых устроить себе, – вроде бы не командуя, а лишь советуя, проговорил комиссар Владимир Васильевич Оккер. – Мы заслужили отдых…

Предупреждая возможное возражение командира, снял фуражку, выгоревшую, с потрескавшимся козырьком, бросил ее на нары и добавил утвердительно:

– Да, заслужили…

Богусловский собирался сразу же, как тронется поезд, провести совещание, а предложение Оккера нарушило его планы. Задело это командирское самолюбие. Но сдержался Богусловский и, видя, как поспешно принялись вслед за Оккером красноармейцы и краскомы распоясываться да снимать фуражки, бросая их на облюбованные места, тоже снял фуражку.

Увы, смежил веки Богусловский лишь под самое утро. Вначале думал об Оккере, который безошибочно уловил настроение всех и преподнес ему, командиру, приличный урок. Нет, не принимал душой поступка Оккера Богусловский, но в то же время не мог не согласиться с разумностью его совета. Приказа, по сути…

С Оккером его познакомили только накануне отъезда. Представили коротко:

– Командир. – Кивок в его, Богусловского, сторону.

– Комиссар. – Кивок в сторону Оккера.

Оккер был в красноармейской форме, изрядно поношенной и основательно выгоревшей, но затрапезно не выглядел: форма сидела на нем ловко.

Богусловский почувствовал сразу волевую силу в этом человеке.

Комиссар подал руку. Жесткую.

– Потомственный рабочий. С Красной Пресни.

– Пограничник. Тоже потомственный.

– Вот и добре. Думаю, сработаетесь, – удовлетворенно констатировал познакомивший их начальник. – Должны. Точнее, обязаны.

«Если самовольничать и дальше станет, – думал теперь под стук колес Богусловский, – не сработаемся. Оттеснить себя не дам…»

Он долго обдумывал, как ему вести себя с комиссаром, чтобы и авторитета его не рушить, но и свой блюсти безущербно, но постепенно мысли его переключились на более важное: он стал систематизировать все напутствия, но больше всего думал о том, с чего начинать в Семиречье и каким маршрутом туда добираться. От железной дороги путь поначалу ясный: Аулие-Ата – Пишпек. А дальше? На Верный через Каскелеи? А может, на Чолпон-Ату, а затем в Кеген, Чунжу, Джаркент? Там казачий пограничный гарнизон. Там наверняка казаки продолжают охранять границу. Но Верный – центр Семиреченской области. В нем – большая крепость. Обосноваться рекомендовали там и уже оттуда посылать на границу уполномоченных. Вроде бы верно все, но от границы Верный далековат. К тому же, как говорили перед отъездом, там кулацко-байские элементы имеют крепкие позиции, пользуясь поддержкой большой части семиреченского казачества.

Вот и выбирай. Вот и прикидывай, как выгодней поступить, где разумная середина?

А поезд на перегонах лязгал надоедливо колесами, на остановках же осмотровые бригады шумной стаей налетали на состав, стучали молоточками по колесам и осям, громко перекликались – все это не давало ни сосредоточиться, ни заснуть.

И тоска не проходила. Притупилась, как хронический недуг, ослабла, но продолжала скрести сердце.

Утро тоже не внесло ясности. Позавтракав всухомятку, расселись чинно по нарам на совещание. Вопрос пока один: маршрут. И сразу началась перепалка. Одни ратовали за степной путь, другие – за горный, мимо Иссык-Куля. Противились из-за воды, корма для коней, возможности обеспечить питанием себя. Помалкивал лишь Оккер, с иронией поглядывая на разгоряченных товарищей. И только когда выговорились все не единожды, поднялся с нар и, встав рядом с Богусловским, который терпеливо слушал споривших и внимательно вглядывался в их лица, заговорил с легкой усмешкой:

– Спора нет, предмет разногласий заслуживает пристального внимания. Пристального, однако же не главного. Считаю, определять путь наш должна политическая обстановка. Да-да, именно – политическая! – жестко закончил он и глянул на Богусловского, чтобы определить его отношение к сказанному.

Богусловский кивнул одобрительно.

«Смышленый. Уверенный. На Костюкова чем-то похож».

А Оккер продолжал:

– Второе направление нашей мысли – охрана границы. Где удобней для этой цели нам обосноваться, где лучшая возможность привлечь добровольцев? Лошадей, уверяю вас, мы сможем прокормить. Себя тоже. Если живы будем.

Примолк вагон. Это тебе не сено с овсом, тут поразмыслить нужно. Крепко поразмыслить. Да и знать побольше того, что они знают о Семиречье.

Поспокойней заговорили, повесомей слова стали. Но мысль одна – окончательно определить маршрут в Пишпеке.

До конечной станции добрались без особых происшествий, если не считать довольно долгой стоянки в Арыси. Их вагоны поставили на запасный путь и, казалось, забыли о них. Но когда Богусловский, сопровождаемый Оккером, который для верности был при сабле, маузере да еще с карабином за спиной, предъявил мандат, а Оккер, словно по дурной привычке, от нечего делать, начал перекидывать, как игрушку, деревянную кобуру маузера из ладони в ладонь, начальник станции тут же распорядился прицепить вагоны к отходящему на Чимкент составу.

– Вот видите, а вы не хотели идти, – упрекнул Богусловского Оккер, когда они, довольные удачной концовкой визита, возвращались к своим вагонам. – Нет, вы явно оторвались от жизни в своем пограничном гарнизоне. Она, Иннокентий Семеонович, ой как круто поменялась.

– Никогда я не соглашусь с вами, – возразил Богусловский. – Если человек остался служить, он должен выполнять свое дело. Революция же не означает хаос.

– Служат, но вредят. Пакостят каждый в меру своих возможностей и способностей.

– Увольнять таких следует! Они же дискредитируют саму суть революционного переворота.

– Спуститесь, Иннокентий Семеонович, на землю грешную с памирских высот.

– Нет-нет, ни понять, ни тем более согласиться не смогу никогда! Сбросив рабство, задохнуться может Россия в неурядицах деловых. Каждый должен делать свое дело и отвечать перед обществом за него полной мерой. А если всякий раз, чтобы решилось дело, маузером пугать – далеко зайдем. Не приемлю этого!

Тем не менее в Чимкенте, где их вновь отцепили и загнали в тупик, Богусловский не стал ждать, пока о них вспомнит само железнодорожное начальство. По полной форме, с шашками и маузерами, нанесли Богусловский с Оккером визит в городской Совет. Итог радостный: овес и сено, хлеб, крупа, консервы выделены обильно, а начальнику станции велено немедленно сформировать, пусть неполный, состав и отправить в Бурное…

Для верности к начальнику станции Оккер сходил сам.

Это тоже возымело действие: вскоре состав из десяти вагонов выкатил из Чимкента и ходко понесся мимо пыльных полустанков сквозь бесконечную пыльную степь.

Метко окрестили эту чрезмерно обласканную солнцем и забытую богом, жаждущую получить хоть глоток воды пустыню: Голодная степь. И не всю ее им удастся пересечь в вагоне, предстоит еще по этому безжизненному горячему однообразию ехать верхом…

Но когда они выгрузились и, уложив в повозки фураж, продукты, оружие с боеприпасами, тронулись на восток, к своему удивлению и огорчению, выяснили, что степь не безжизненна, а обжита, исполосована дорогами, не очень торными, но заметными. А им говорили, что до Аулие-Аты проводника брать не нужно – дорога одна, с пути не сбиться.

Сколько раз Богусловский упрекал себя за то, что поверил этому утверждению, особенно когда подъезжали к очередной развилке и начинали гадать, куда направить коней. Благо что встречались в степи и юрты. Правда, не каждая юрта гостеприимно откидывала полог и зычный голос успокаивал злобных собак, иной раз так никто и не отзывался.

Двигались с горем пополам через пустыню все же в нужном направлении, и, чем ближе подъезжали к Аулие-Ате, тем чаще попадались не только одиночные или парные юрты, но и целые аулы из юрт, а то и из глинобитных плоскокрышных домишек. Встречали тоже поразному. То барана зарежут и кумысом вволю напоят, а то еще издали спустят свору собак.

К таким юртам не сворачивали, если даже очень нужно было расспросить дорогу.

На исходе степи стали попадаться хохлацкие и староверческие села – Алексеевки, Николаевки, но чаще Подгорновки. Осанистые, с пышными садами, с вольными пашнями. Неприветливые села. Только когда видели всадники красный флаг, обычно на выселках, – подъезжали безбоязненно. Коммунары охотно делились с пограничниками небогатой своей пищей, не жалели сена лошадям и несказанно радовались, когда получали от отряда две-три винтовки и цинк патронов.

Тревожные беседы велись за вечерним чаем. Коммунары рассказывали, что кулачье сбивается в шайки, обзаводится не только винтовками, но и пулеметами. И все она – землица. Пусть не осилю, пусть овсюгом зарастет, но не отдам никому. Мое есть мое.

– Не взять добром у них, что нахапали, у нас же нахапали, – с сожалением говорил кто-либо из коммунаров, и все соглашались с ним.

В Аулие-Ате Богусловского несколько успокоили, заверив, что имеют достоверные данные: крепость в Верном у красных казаков. Но уже через несколько дней, когда они добрались до Пишпека, там узнали совершенно противоположное: крепость поднялась против большеви-

ков. Какие дела в пограничных гарнизонах, никто толком ничего не знал. Богусловский собрал совет.

На этот раз никто уже не говорил об овсе и сене. Путь определяли взвешенно. Приняли горный вариант – тропами Пржевальского. Главный фактор таков: бедные чабаны дружелюбней домовитых хохлов-переселенцев и зажиточного казачества, к тому же киргизы менее вооружены.

Пару дней на сборы. Брички заменены вьючными лошадьми, строевые кони перекованы, потники старательно почищены, а к седлам прикреплены накрупные ремни (чтобы на спусках не съезжало седло на холку и не наминало ее) из сыромятной кожи, основательно пропитанной дегтем. Сена с собой не стали брать, ибо все предгорье уже было в густом разнотравье, среди которого рваными островами алели маки. Да и проводник, взявшийся показать дорогу до Иссык-Куля, утверждал, что травы по дороге будет вволю.

Первые километры среди изумруда трав и пламени маков радовали путников, но вскоре холмистое однообразие начало угнетать, и глаз невольно тянулся вдаль, к нахлобученным на вершины снежным папахам. Но пламенные маковые острова назойливо лезли в глаза, никак от них не отделаешься.

– Смотришь на маки, и оторопь берет, – словно серчая на кого-то, говорил Оккер. – Оттого, думаю, столько легенд о маке… Своя у каждого народа.

– Только суть у них у всех одна, – поддержал разговор Богусловский. – Капли крови борцов со злыми силами, с захватчиками, с притеснителями, борцов не за свое счастье, а за счастье всех.

– Логично бы тогда святыми почитать эти цветы, – усмехнулся Оккер. – Так нет, рвут их люди охотней других, топчут без всякой жалости эти огненные капли крови великих храбрецов. Парадокс…

– Не вижу несоответствия со здравым смыслом, – возразил Богусловский. – Жить лишь памятью, не означает ли это петь только панихиды? Пусть в памяти останется святость, жизнь же пусть живет. Полно живет, во весь размах. По мне, так каждое поколение просто обязано оставлять о себе легенды.

– Мы-то оставим, спору нет. Вволю их наберется. Добрых и недобрых.

– Поживем – увидим, – неопределенно ответил Богусловский и пришпорил коня. Не хотелось ему продолжать разговор, который вдруг крутнул в иную сторону.

Спустились в ложбину, будто грязный хребет какого-то чудища выдавился из земляной глубины, растолкав и зелень травы, и маки, но обезножел и теперь набирается в спокойной неге силы, чтобы еще разок напрячься и распрямиться, подняться в полный рост… И не замечало чудище, что бока слезятся от солнечной горячей ласки.

– Сказка! – восхищенно воскликнул Оккер. – Истинно сказка!

– Нет, – возразил Богусловский. – Жизнь реальная. Частенько и люди так: пыжатся, а бока у них тают.

Удивленно посмотрел на Богусловского Оккер. Он не понял своего командира, ибо не знал его мыслей, его ассоциаций.

Нет, не складывался у них разговор. Что-то мешало им раскрыться полностью, а ведь они понимали, что долог их путь стремя в стремя. Да и сторожиться друг друга вроде бы причин нет. Оккера Богусловский выделил сразу, почувствовал он и ответную симпатию. И надо же – стоило лишь перейти на разговор, не касающийся службы, как тут же он стопорился и каждый из них чувствовал сдержанность собеседника. Недоумевая по поводу этого, они тем не менее ничего не предпринимали, чтобы откровенно объясниться.

Тропа все теснее, все круче подъемы и спуски, а местами скалы подступают вплотную, и тогда кажется, что воздух, привыкший к полной тишине, дрожит испуганно от цокота подков,

да и скалы пугливо отшвыривают чуждые им звуки, и они мечутся по теснине неприкаянно, заполняя собою все, что можно заполнить.

В таких местах всадники замолкали, лошади возбужденно прядали ушами.

После одного такого, очень глубокого и очень длинного расщелка, по дну которого журчала торопливая речушка, перед утомленными путниками вдруг распахнулся неохватный простор нежной голубизны. Будто небо, раздвинув горы, расстелило себя под копыта коней до самого горизонта. Богусловский натянул повод.

– Иссык-Куль! – восторженно выдохнул кто-то. – Горячее озеро. Красиво!

– Вот оно какое! – столь же восторженно воскликнул Оккер. – Природный уникум!

Полюбовавшись бездонной голубизной, спокойно чувствующей себя в ореоле хмурых с седыми вершинами-головами скал, двинулись по правому берегу озера, вначале по узкой прибрежной полоске, но вскоре горы начали постепенно отступать, появились деревья, вольные, могучие, и ехать стало легко и просторно, а тень и ветерок, который постоянно тянул с озера, приятно освежали. После застоялой духоты каньона все это воспринималось как земной рай.

Повстречалась первая рыбацкая артель. Русские, киргизы и казахи. Рыбаки только что вернулись с удачливого осмотра сетей и на радостях предложили пограничникам остаться на уху.

Пока чистили рыбу, еще живую, пока разжигали очаг, Богусловский и Оккер беседовали со старшим артели, назвавшимся Василием. Выясняли более легкий путь на Чунжу.

– Я вам проводника дам. Кегенские у меня есть. Рады будут рыбки домой переправить. Лошадью только его обеспечьте.

Нежданный подарок. Теперь не придется больше двигаться на ощупь. Сколько будет сэкономлено и времени, и сил. И путь, как пояснил Василий, не озорной.

– В степи зорует, слухи ходят, сволочь всякая. Насильничают, грабят. А здесь – бог миловал пока.

Значит, верный маршрут избран. Пусть немного длиннее, но зато безопасней.

– Большевистскую власть без огляда приняли здесь. Кто побогаче, знамо дело, насупились, но пока, слава богу, помалкивают. А дехкане, чабаны да мужики, что на земле сидят, те сразу быков да ослов в упряжь – и давай Пржевальского стаскивать. Генерал ить царев.

– Что?! Уничтожили памятник?!

– Не совладали. Крепок шибко, – ответил Василий безразлично, затем также безразлично спросил: – Жалко, что ль? Иль родственник?

– Пржевальский – патриот России. Он – история России!

– Кто ж его разберет… – все так же равнодушно ответил Василий. – Генерал он и есть генерал. Одного поля ягода.

С простодушной искренностью было это молвлено, и именно от этой незлобивости, от этого полного безразличия оторопь взяла Богусловского. Как же так?! Отсечь пуповину – естественно, но как остаться без материнской груди, если грудь, и это тоже естественно, не родилась вместе с новорожденным, а была прежде. Что? Навышвыр ее? Пагубна позиция: «Кто ж его разберет…», пагубна непредвиденностью последствий. И Богусловский, горячась, и оттого не очень-то последовательно, но пылко и потому по-своему убедительно, принялся втолковывать, какую роль для России, для тех же киргизов, для староверов, что сгоняли к памятнику быков и ишаков, сыграл Пржевальский.

– Нельзя же, поймите, стричь под одну гребенку крепостника-кровопийцу и величайшего русского ученого. Кощунственно это!..

– Верно вроде бы все, если по-твоему рассудить. Только на митинге давеча нам иное сказывали: раз генерал, выходит, одна ему дорога – под корень.

– Да кто посмел такое?!

– Большевиком назвался. Из Пишпека. Из тех, которые грамотные, ученые. Что и ты говорил, только иначе как-то. Во вред, мол, все генеральские дела. В колонии, сказывал, собирался киргизов угнетать. А им, бедолагам, и без того податься некуда. Стригут, что овец. Под нулевку норовят.

Это было выше понимания Богусловского. Он не мог поверить, чтобы просвещенный человек хулил Пржевальского. Такое мог делать только враг России. Только враг мог возбудить народ, играя на его справедливой ненависти к притеснителям и лихоимцам, против тех, для кого благо России и могущество ее были превыше всего, возбудить народ против своего же прошлого, против груди материнской.

– Поймите же, обкрадывают вас! Духовно обкрадывают. Дети наши, внуки наши не найдут доброго слова для нас, если мы проведем запретную черту между прошлым, нынешним и будущим!

– По мне, так: хватит на мой век рыбы в озере, тогда и детям останется.

– Не тратьте попусту энергии, Иннокентий Семеонович, – вмешался в разговор Оккер. – Ну одного наставите, а что делать с тысячами, с сотнями тысяч? То-то.

– Верно, – поняв по-своему Оккера, поддержал рыбак. – Чего безрыбью воду сквозь невода цедить. К ухе пора. Да с проводником сговориться.

Уха была навариста, душиста, как всякая уха, сваренная из свежей рыбы, положенной без экономии. Воистину за уши не оттянешь. Молча и сосредоточенно работали ложками рыбаки, отирая то и дело потные лбы шумливо, вприхвалку пограничники. И только Богусловский не усердствовал над своей чашкой. Уха ему тоже нравилась, но полностью отдаться трапезе, забыть разговор с Василием Иннокентий не мог. Он был уверен, что от памятника не отступятся. Он представлял себе, как сделанный старанием многих искусных людей памятник великому сыну России покачнется от взрыва и рухнет на землю – Богусловский даже ощутил боль, будто сам валился с пьедестала.

«Сколько их в империи – памятников достойных! Что, все – динамитом? Нет, следует спасать. В Ташкент – депешу. В Москву! При любой встрече наставлять людей. Особенно когда к месту доберемся».

Вроде бы успокоить должно было Богусловского это умозаключение, но вопреки здравому смыслу та тоска, к которой он уже привык и даже не замечал ее, – та хроническая тоска обострилась и до боли сдавила сердце. Какая уж тут уха?

Никому не было дела до дум и чувств Богусловского. Мелькали ложки, остановки делались только для того, чтобы отереть тыльной стороной ладони взопревшие лбы. Вот она, вековечная традиция простолюдия: пока я ем, я глух и нем.

И совсем неожиданно и даже неуместно прозвучал голос Василия:

– Ты, командир, приглядись к кегенцам, пока они за едой. Мы как определяем: каков в еде, таков и в труде. Вон те, особняком что, все семиреченские. Любой согласится, кого выберешь в проводники. Слова русские все они сколь-нисколь, но калякают. А понимать – как есть понимают весь разговор наш.

Поглядел Богусловский на кегенцев. Одеты, как все рыбаки, в стеганки из «чертовой кожи», замызганные настолько, что непонятно какого цвета, в такие же лоснящиеся от налипшей чешуи и слизи штаны, заправленные в яловые добротной работы сапоги. Кегенцы отличались от остальной артели только редкобородыми скуластыми лицами. Словно братья, сидели они тесным рядком, ели неспешно и чинно, с чувством внутреннего достоинства. По меркам русского нанимателя они не годились в отменные работники, да Богусловского и не интересовало, жаден ли до еды будущий проводник. Лучшим качеством в человеке Богусловский считал доброту и сейчас приглядывался, у кого из семиреченских казахов самое доброе лицо. Все казались ему одинаково достойными выбора.

– Ну как, приглянулся кто? – полюбопытствовал Василий через какое-то время. – Позвать?

– Не нужно, я сам, – ответил Богусловский и перешел, взяв свою почти полную чашку, к дружному рядку казахов. Те потеснились, освобождая Богусловскому место в центре, и запригласили наперебой:

– Жогара чикингиз…

– Проходит перед…

Сколько раз он слышал это традиционное приглашение казахов, которое уважительно произносилось у распахнутого полога юрты, сколько раз переполняло его чувство благодарности к доброму степному народу, ибо у злого и завистливого не может быть столь бескорыстного гостеприимства. Вот и теперь он с благодарностью опустился на траву в тесный ряд сердечно встретивших его людей. Помолчав немного, спросил:

– Кто сможет проводить нас до Кегена? Горы не любят слепых котят…

– Верно, – закивали казахи. – Ой как верно. – Затем заговорили между собой, определяя, кому ехать.

Сообщил мнение всех старший по возрасту, лицо которого уже тронули бороздки времени:

– Сакен поедет. Молодая жена скучает у него.

Каждому из них хотелось воспользоваться счастливым случаем, чтобы побывать дома, но все добровольно уступили самому молодому. Не ведали они, что искренняя доброта их обернется великим испытанием для их товарища.

Но кто и когда может определить, что станет с нами завтра? Знал бы где упасть – соломки бы постелил…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.